

Ульмас
УМАРЪЕКОВ

ПУСТЫНЯ

Перевод С. Шевелева



Недавно приводил я в порядок старые бумаги и нечаянно наткнулся на забытую фотографию. Увидел стариковское утомленное лицо, худое и в морщинах, отсутствующий взгляд, взгляделся — и вспомнил этого человека...

Шесть лет назад я возвращался домой из-за границы, побывал как журналист в одной из стран Ближнего Востока. В небольшом портовом городке на берегу Средиземного моря мне пришлось задержаться на сутки: пароход в Одессу уходил лишь на следующий день. Я устроился в гостинице, принял душ, позавтракал, отдохнул — больше в номере делать было нечего.

Хотя час стоял полуденный и на улице было жарко, я вышел из гостиницы — пройтись по незнакомому городу.

Небо было чистое и блеклое, воздух прозрачен, и полудневная улица казалась если и не вымершей, то погруженной в какой-то колдовской сон. Впрочем, может быть, я и ошибался, — вдруг в этом городке всегда так тихо и сонно, и никакого колдовства нет, а просто городок и его жители чувствовали себя частью этого мира, этого сонного дня, неподвижного солнца, нагоняющего дремоту неба и жаркого воздуха, пустого и неподвижного... Может быть...

У дверей гостиницы сонно склонил голову чистильщик сапог.

На мостовой тележка — род такси: крохотный черный ослик запряжен, деревянный кузов украшен резьбой, на козлах тощий старик в залатанном халате машинально перебирает четки, но и в монотонном этом движении нет течения времени, а лишь неподвижность и сон...

Направо от гостиницы — низенький плоский домик, сладко похрапывает на полу веранды волосатый толстяк. Здесь же, у веранды, стойчески ждет покупателей мальчуган в длинной, по колено, рубашке и, видать, без штанов — в руках у него, нанизанные на бечеву, отливают красным рыбешки...

Тихо...

Но тут с моря потянуло вдруг ветерком, до меня долетел пряный запах какой-то снеди — и разбудил меня. Наверное, несколько минут я достойно дополнял мирную картину сонной улочки...

Я отправился побродить, посмотреть порт и город.

Тихим и малолюдным показался мне этот городок, и все в нем противоречило шумному понятию «порт» и привычной для нас переменчивости: прибытие — убытие, прилив — отлив толпы, гомон, свистки...

Пустынные улочки тихо убаюкивали извивами и меж тем ползли в гору, — я и не заметил, как поднялся довольно высоко над морем и портом — здесь кончался город. Еще несколько шагов — и я понял, что нахожусь у цели своего путешествия; ведь, наверное, не просто так ноги принесли меня сюда: неуклюжая каменная глыба вздымалась над землей, издали — лишь слегка наклонившаяся, поближе — нависшая, а вблизи — уже и угрожающая, будто тигр, который вот-вот бросится на вас, но пока лишь рычит, показывая страшные клыки.

Два туриста, как будто немцы, светловолосые, с загорелыми лицами, в шортах, фотографировали каменную глыбу. С площадки открывался вид на город и море; я опустил на скамеечку и закурил.

Безмятежная водная гладь сливалась где-то у горизонта с голубым небом и нет-нет сверкала золотом под набежавшим ветерком. Я не помню, сколько времени я просидел здесь, любуясь простором воды и неба, живой игрой солнечных бликов и ощущая себя причастным к этому сверкающему дню, счастливым и вольным... Как вдруг моего слуха коснулся тонкий и протяжный звук, будто прилетевший из голубого с золотом царства, дремлющего передо мной... Еще, еще — но это же най, камышовая свирель, совсем как у нас в Узбекистане! Я прислушивался, я ждал со счастливой уверенностью: вот-вот опять сейчас заиграют... И правда — невидимый най зазвучал опять, и голос его теперь слышался близко. Мелодия вначале была грустной, даже печальной, потом оживилась и вдруг рассыпалась радостными трелями, зазвенела, как весенний ручей.

И я увидел цветущие долины родного Узбекистана, увидел пушистых ягнят в ароматных травах — радостно звенели их колокольчики, увидел горные кряжи, и пропасти, и вершины в вечном снегу, и наконец, мне откры-

лась прекрасная картина южной ночи — бездонное черное небо с золотой россыпью звезд...

Я побывал в разных странах и не однажды восхищался их музыкой, но подобной игры мне слышать не приходилось — да и кто не у нас, не дома, мог с таким искусством владеть наем?

И оборвалась радостная, сверкающая мелодия, полилась тихая, грустная — точно горькая жалоба, точно прощание с людьми и с жизнью, — безутешно плакала тростниковая дудочка... И опять запел най, взяв тоном выше, — дрожь прошла у меня по спине...

— Хорошо играет, да? — это у меня вдруг спросили, на родном моем языке, на узбекском.

Я обернулся — увидел седого незнакомого старика, чуть косо поставленные глаза разглядел, щеки смуглые, широкие брови, слитые над переносицей и, как волосы, начавшие седеть. «Вы узбек?» — бился во мне вопрос, но прямо спросить незнакомца показалось мне неприличным, и я поднялся со скамьи и ответил только:

— Хорошо...

Мы поздоровались.

— Да, а я вот каждый день сюда прихожу, игру ее послушать... — Старик жестом пригласил меня сесть.

— «Ее»? Это женщина играет?..

— Да... одна женщина несчастная... — старик вздохнул и опустил голову. — В молодые годы была красавица... Ну, а теперь состарилась, живет в бедности, чуть ли не нищая и никому не нужная...

— Вы... с ней знакомы?

— Как же, конечно, она ведь тоже узбечка, из Самарканда... Бог знает когда, в юности, бежала за границу с каким-то байским сыном, тот, года не прошло, умер, вот из нее чужбина-то жилы и вытянула... Ни здоровья, ни красоты... а когда ослепла... это при мне уже было, недавно, так еще будто и рассудком помутилась, говорят...

— Но как же она играет?.. А нельзя ли ее повидать?

— Отчего же... Пойдемте.

Старуху мы нашли на соседней улочке — она сидела, скрестив ноги, на убогой веранде с покривившимися столбами. Лоб и глаза закрыты ветхим кисейным платком, на плечах обтрепанная рубаха... Легонько раскачиваясь, старуха что-то шептала. Най лежал рядом...

Мой новый знакомый наклонился к ее уху.

— Да умножится ваше потомство! — громко поздоровался он. — Пришли проведать вас...

Старуха покачала головой, погладила металлическое блюдце у себя на коленях и ничего не сказала.

— Плохо слышит... — объяснил мой знакомый.

Я достал из кармана несколько монет и положил на блюдце.

Старуха протянула к блюдцу руки, на ощупь сосчитала монеты, продолжая что-то шептать, потом коричневые морщинистые щеки ее дрогнули и губы растянулись в улыбке.

— Салам алейкум, бабушка! — поздоровался я.

— Ваалейкум ассалам! — ответила наконец старуха, спрятала монеты где-то на поясе, погладила блюдце и обратила лицо ко мне: — Кто ты, сынок?

— Я проезжий, возвращаюсь на родину...

— Да-да, тут много проезжих, много вас, странников. На этом свете все мы странники, и Мухаммед, пророк аллаха нашего всемогущего, странствовал, все мы в руке господней, все странники. — Она пробормотала еще что-то, потом, тихонько раскачиваясь, затянула вполголоса песню-плач.

Старик тронул меня за руку, я обернулся и увидел слезы у него на глазах. Мы тихонько ушли. Звук свирели, тонкий и жалобный, долго провожал нас.

На берегу моря мы остановились. Старик взглянул мне в лицо и вдруг сказал:

— Простите, я вижу, что огорчил вас.

— Не каждый день приходится встречать... вот так... земляка...

— Если вы не против, давайте выпьем по чашечке кофе, здесь в гостинице умеют приготовить...

Я согласился в надежде, что разговор со стариком поможет стряхнуть подобравшуюся тоску, однако мне суждено было сегодня услышать рассказ еще более грустный...

Мы добрались до гостиницы, устроились за столиком, выпили по чашечке чудесного кофе — и на душе у меня стало поспокойнее. Старик тоже как будто повеселел.

— Откуда вы, из каких мест родом? — спросил он приветливо.

Я назвал родной кишлак.

— Слышал, как же, да побывать не пришлось... Я, как видите, тоже узбек... Только вот уже сорок лет почти не видел родины... И не судьба уж, наверное...

Старик опустил голову, задумался: я не хотел мешать ему... Чем-то он был похож сейчас на давешнюю старуху, что-то близкое в выражении лица почудилось мне...

Я попросил принести еще кофе. Старик поднял голову:
— Хотите послушать мою историю?
— Хочу, — сказал я.

II

— Родился я в кишлаке Чалыш. Это под Хорезмом, на берегу Амударьи. Может быть, приходилось бывать в тех местах?.. Ну вот, а когда мне минуло четырнадцать лет, мы всей семьей переселились в Новый Ургенч.

Отец мой считался по тем временам человеком ученым, занимался же торговлей и еще умел лечить. Во дворе у нас вечно сидели несчастные в язвах, струпьях, с нечистыми повязками... Я смотрел на них с отвращением, отец заметил это и сказал так: «У русских есть пословица: от тюрьмы да от сумы не зарекайся. Не считай себя, сын мой, выше этих больных людей, ибо страдания их — от бедности, от нищеты. Многие болезни может побороть знание, но нет лекарства от бедности. Берегись ее...»

Моя мать, любившая отца и всегда помогавшая ему, согласно кивала головой, слушая его наставления. Мама была молодой, моложе отца на двадцать лет; отец — я видел — баловал ее. Она могла не заниматься обычной женской работой, на то были служанки, а мама много читала, знала наизусть древних поэтов; иногда вечерами она, чуть нараспев, читала отцу вслух, и я тоже слушал — и мог слушать ее без конца. Счастливое было время... И еще помню: мама сама пробовала складывать газели, отец в минуту отдыха весело просил ее почитать свое... Семья наша была дружной, и сам я был всему причиной: отец долго хотел иметь сына, но женился поздно, уже под пятьдесят, — мол, только шайтану не на что надеяться! И вскоре родился я, единственное и ненаглядное дитя, и рос, видя в родителях внимание, заботу и любовь...

Но светлое мое детство неожиданно оборвалось. Я запомнил эти дни, ибо переменялось многое: в Хиве свершилась революция, прогнали Джунаид-хана, и провозглашена была Хорезмская народная республика...

Отца я теперь часто видел озабоченным и встревоженным. Мама тоже была невесела и даже сильно похудела, — она вообще была некрепкая здоровьем, наша мама... А рассказывал мне о происшедших событиях и толковал их один русский человек, давний друг нашей семьи, инженер, звали его... звали его... да, Константин Степанович Лойко. Он многому научил меня и необыкновенным

образом повлиял на мою судьбу, поэтому расскажу о нем немного...

Так вот, был он инженер, сосланный в наши края еще в девятьсот двенадцатом году... Помню — высокий, худой, сильно загоревший под нашим солнцем, и кожа на носу облуплена. С отцом они были приятели, и Константин Степанович частенько навещался к нам, сперва в Чалыш, а потом и в Ургенч. Помню его рассказ о том, как отец мой вылечил его, спас от смерти, когда он только приехал к месту ссылки... Может, было еще что, не знаю, но помню, что отзывались они с отцом друг о друге с почтением, и, отправляясь в дальние торговые поездки, отец просил Лойко не забывать нас с матерью, и помочь, и защитить, если потребуется... И я любил Константина Степановича, — он свободно владел узбекским и рассказывал мне о России, о Петрограде и Москве, от него я впервые услышал имена Пушкина и Толстого, узнал о Горьком... Наверное, одним из первых в нашем городе прочитал я с его помощью «Капитанскую дочку»... и до сих пор помню, как хотел быть Гриневым, как мечтал вырвать свою Машу из рук неведомых злодеев... Прочитали мы и «Песню о Буревестнике»... А город Ургенч в это время гудел, как встревоженный улей. Народ, ставший вдруг хозяином земли, хозяином воды, почувствовавший себя хозяином жизни и смерти, — народ толпился на улицах, ибо стены домов не в силах были вместить его радость и гнев... Кого-то проклинали, кого-то славил, благодарили аллаха за избавление от ханской власти, передавали слухи...

В один из этих взбудораженных дней отец вернулся домой сгорбленным и постаревшим, заперся у себя и не выходил до вечера. Вечером приехал Константин Степанович, при новой власти он сделался значительным лицом; они с отцом долго беседовали и, кажется, впервые за все время дружбы поспорили. Я слушал их разговор — так захотел отец.

— Я понимаю, вам нелегко смириться с утратой, — тихо говорил Лойко, глядя в невидящие глаза отца, — но вы из самых образованных людей города, вы должны понять нас: революция — это равная жизнь для всех...

— Прекрасно, но я-то, я-то при чем? — потрясенно спрашивал отец, и мне было жалко и страшно видеть его слабость. — Вся жизнь... Все, что имею, собрано по копейке, ничего, понимаете, ничего не нажито обманом или чужим трудом... Ведь вы же видели сами, правда?.. Посмотрите на моего сына — для него трудился, собирал, чтобы

ему жить по-человечески, чтобы ему не знать бедности! Я — старик, я болен, сколько мне осталось! — но что будет с ним? Я ли не видел нищих, я ли не говорил...

— О Бекджане и о будущем его не беспокойтесь, — утешал Лойко. — Старое богатство ему и не понадобится, он будет учиться — в этом его богатство и счастье... Революция, социализм — это ведь все и для наших детей, для молодых. Скоро вы сами увидите и поймете...

— Не могу, не желаю вас понимать! — крикнул отец и вдруг поднялся, схватившись за сердце, пошатнулся...

Мы с Лойко подхватили его, не дали упасть, усадили в кресло... В лице отца не было ни кровинки, губы побелели...

— Не желаю... — прохрипел отец и закрыл глаза, будто не хотел видеть Лойко.

Константин Степанович поднялся, виновато попросился, вид у него был растерянный, а отец не ответил ему.

Провожая гостя, я спросил:

— Что же именно стряслось, я не понял из разговора.

— Маргеланский банк национализирован, перешел в руки государства, — объяснил Лойко.

Я знал, что в этом банке хранились все деньги отца, и понял одно: мы стали нищими...

Лойко увидел, что мне не по себе, и добавил:

— Ты не тревожься о будущем... Поедешь учиться! Твоему отцу трудно понять революцию — он совсем старик уже, и у вас разные пути... Для будущего твоего не богатство важно, а учеба, знания... — Он еще что-то говорил, но я плохо понимал его, да и не слушал — все мысли мои в эти минуты были об отце.

Так ничего и не ответив гостю и не попросившись с ним, я поспешил к отцу. Он, по-прежнему неподвижный, полулежал в кресле, сжав кулаки и закрыв глаза...

Я подбежал к отцу, взял его за руку — и выронил ее...

— Папа, папочка, папа... — звал я — и не дождался ответа.

Отец не перенес потери всего своего состояния, не выдержало сердце...

...Мама слегла от горя. Помочь, утешить и ободрить нас приехали из нашего кишлака родственники и друзья отца, дни проводили у маминой постели. Но удивительно — слова утешений будто давались им с трудом, зато с охотой рассказывали о собственных несчастьях — и было что послушать. Оказывается, несколько дней назад, ночью, на кишлак напали вооруженные всадники, и будто бы видели

люди у них на шапках красные звезды. Разграбили эти всадники с десятков дворов, немало забрали разного добра, и угнали с собой коров, и увезли несколько молоденьких девушек. И особенно пострадал близкий наш родственник — мой дядя Алибек, брат отца, с детства немой... Его дом остался стоять пустым... Женщины, приехавшие из кишлака, плакали, рассказывая о беде, и дядя тоже беззвучно раскачивался в плаче, хоть и не мог сказать...

Я знал про него, что еще мальчишкой, чем-то сильно напуганный, он лишился речи; отец мой долго пытался вылечить его и, потерпев неудачу, возил брата к знаменитым врачам. Но немота осталась. Дядя все слышал и понимал, мог читать и писать, но говорить ему не было дано.

Отца похоронили, родственники гостили у нас, оставив собственные несчастья, и старались помочь нашей осиротевшей семье; шли дни, но правильно говорят: беда одна не приходит...

На сороковой день после смерти отца, когда собрались в нашем доме родственники и друзья помянуть усопшего, мама моя покинула эту жизнь... И я остался один, осиротевший и в осиротевшем доме.

Родственники мои рассудили, как быть со мной, и решили так: ко мне должен был переехать и жить в нашем доме дядя Алибек.

Но как говорить с немым, как выразить, рассказать ему боль души, как получить ответ, в чем найти утешение?..

С дядей мы встречались за едой — он прекрасно умел готовить, а остальное время надо было чем-то занять... Я был так потрясен смертью родителей, что даже в шумной толпе на улице, среди праздника с песнями и музыкой, чувствовал себя неприкаянным... Я не знал, куда пойти, тосковал и, наконец, нашел какое-то прибежище и покой в чтении книг, оставшихся после отца. Я почти перестал выходить на улицу и, кажется, потерял всякое представление о происходившем в городе, навещал лишь могилы отца и матери. Поднявшись утром и позавтракав с дядей, я забирался в комнату отца и читал, и читал запоем. Дядя Алибек куда-то уходил на весь день, а вечером я читал ему вслух — совсем как недавно мама читала отцу... Дядя слушал и, если нравилось, довольно покряхтывал, если же нет — тихонько валился на бок и мирно засыпал, мой удивительный дядя...

Сколько так времени прошло — не помню, но окончилось это время неожиданно.

Однажды я стоял у могилы отца, и на душе у меня было страшно тоскливо, хоть вой, как бездомная собака. И тут кто-то взял меня за руку. Я обернулся — Лойко! После смерти отца я плохо думал о нем, но сейчас, когда я увидел его доброе худое лицо, жалость к себе сжала мне сердце, и я заплакал, уткнувшись ему в плечо...

В тот же день я уехал с Константином Степановичем в Хиву — он не бросил меня. Подготовившись с его помощью, я сделался учителем — стал работать на курсах ликвидации неграмотности. Хива была тогда столицей молодой советской Хорезмской народной республики. Хива бурлила, увлекала и притягивала, народ начинал строить новую жизнь, что-то разрушалось, что-то воздвигалось, кипели страсти, открывались новые горизонты, и я был захвачен стремительным потоком...

Ах, судьба сыграла со мной злую шутку! Зачем остался я в тихом Ургенче, вдали от страстей, опасностей и забот? Ведь если б я не уехал с Лойко в Хиву, жизнь, может статься, не послала бы мне тех испытаний, не стал бы я одиноким скитальцем в чужом краю, не измучил бы душу в тоске...

Но не дано нам знать наперед, чем обернется завтрашний день, и двигался я по жизни с закрытыми глазами. О, если б прозреть мне раньше, твердо стать ногами на землю, укрепнуть душой!.. Но нет — жизнь вела, несла меня, и я подчинялся ходу событий. Хотя, конечно, этого я не понимал, — я пришел в себя, вернулся наконец к жизни после смерти родителей, будущее манило меня, я строил планы, собирался поехать учиться...

О радужные мечты, необузданные желания молодости, кого не манили вы призраками далеких столиц, и сверканьем звездного неба, и пылью дорог, и шумом амударьинской волны на закате, и загадочной улыбкой девушки!..

О радужные мечты молодости, кого не обманывали вы и кто не предавал вас! Человек — раб судьбы своей... Нет! — скажете вы? Но я, я оказался рабом...

Я уже работал в Хиве на курсах по ликвидации неграмотности, меня считали способным преподавателем, и когда в городе появились комсомольцы и образовался комитет комсомола, я готов был идти с ними.

Однажды на курсах, где я был учителем, объявилась комиссия из какого-то высокого правительственного учреждения. Комиссия проверяла всю работу курсов, и в том числе интересовалась классовым происхождением преподавателей. На мое счастье, в составе комиссии оказался

и Лойко; он, видно, поручился за меня, поэтому мной особенно не интересовались, проверили только, как идет учеба. Когда комиссия закончила работу, председатель пригласил меня к себе. В кабинете находился Лойко. Он заговорщически подмигнул мне.

— Константин Степанович,— начал председатель комиссии,— хорошего мнения о ваших способностях, а мы — хорошего мнения о вашей работе здесь, на курсах. Нам нужна способная молодежь, вы неплохо зарекомендовали себя, и мы хотим предложить вам продолжить образование. Мы отправляем в Москву (сердце мое радостно дрогнуло!) группу молодежи — учиться. Вы можете поехать с этой группой.

От счастья я, как говорится, головой неба коснулся.

— Спасибо, спасибо... — благодарил я, а сердце прыгало в груди, и хотелось обнять их, председателя и Лойко, кричать от радости, бежать, оповестить весь мир о своем счастье — его и хватило бы на весь мир.

— Нам жаль отпускать хорошего преподавателя, но мы понимаем: через несколько лет нам понадобятся тысячи знающих людей, много тысяч, и времени терять нельзя. Не теряйте его и вы — жизнь открывает перед вами дверь в чудесный сад знаний... Дерзайте! Но это в будущем, а завтра приходите в комитет комсомола, мы говорили там о вас...

— Помнишь,— сказал мне Лойко,— помнишь мои слова, что знания — твое богатство? Не деньги, нет, а знания и работа для народа. Республика посылает тебя учиться!

Домой я прилетел как на крыльях, легкий и обновленный радостью. Здесь, в Хиве, я снимал комнату у старушки, сын которой, красноармеец, преследовал сейчас под Ходжейли отряд басмачей. Увидев меня, добрая старушка подумала, видно, что я заболел, — взмок, запыхался — бежал от самых курсов...

— Вай, что с тобой, что стряслось, сынок?

— Все отлично, не бойтесь, просто я еду в Москву! — Я обнял старушку. — В Москву, понимаете?

— Как, как? Москов?!

— Да, да, в Москву, там, в Москве, живет Ленин!

— Вай улай! — Изумленная старушка забыла закрыть рот; я же отправился к себе в комнату и стал перебирать свои вещи, не зная, что укладывать в первую очередь.

И вдруг я сообразил: «Дядя! Нельзя же уехать, не известив его!» Я написал короткое письмо и отправился на

базар — там можно было встретить арбу с зерном, отправляющуюся в Ургенч.

Я заплатил арбакешу, объяснил, кому передать письмо, и вернулся к себе.

Ночь тянулась без сна, счастливые мысли не давали мне заснуть, жизнь в столице представлялась раем. О чем я мечтал в те безмятежные часы? Кажется, я прожил в своем воображении целую счастливую жизнь. Если бы эти мечты сбылись! Но не дано нам знать наперед свою судьбу...

III

И на следующий день ощущение праздника не оставляло меня — радостные события сменяли одно другое, как в счастливом сне.

В комитете комсомола меня приняли как товарища по общему делу, как своего, да так оно и было в действительности. Я узнал, что в Москву едут учиться еще двенадцать человек и что вся группа отправляется через два дня... Как провести их, как дожидаться отъезда? Время, прежде несшееся вскачь, теперь будто застыло.

Простившись с работниками комитета, я брел в задумчивости по улице, и вдруг звонкий девичий голос окликнул меня:

— Бекджан!

Я обернулся и увидел девушку в кожаной куртке, в каких ходили у нас в городе комсомольцы; девушка была очень красива, и почему-то запомнились мне тугие ее косы, черной короной уложенные вокруг тубетейки. Я смотрел — и узнавал, и не узнавал, и, наверное, глупо тарачил глаза, потому что девушка рассмеялась и спросила:

— Не узнаешь?

Но я увидел уже знакомую ямочку на щеке и обрадовался:

— Гавхар!

Мы подали друг другу руки.

— Что, сильно я изменилась?

— Очень! Совсем большая стала, а?

— Ты тоже переменялся... Я не сразу поняла, что это ты. Гляжу — и понять не могу: кто ж такой? То ли ты, то ли похожий кто...

Она снова рассмеялась, а я слушал и все не мог отвести от нее взгляд.

Наконец я почувствовал неловкость — нельзя же любоваться девушкой и ничего не говорить ей. Я смущенно откашлялся и спросил:

— Слушай, а как ты здесь оказалась?

— Да я вот тут работаю, — она кивком указала на комитет комсомола. — А ты?..

— А я уезжаю... через два дня. В Москву, учиться!

— Как — в Москву?! — Гавхар радостно захлопала в ладоши. — Я ведь тоже еду!

— Правда?! — Я схватил ее за руки и счастливо смеялся, а говорить больше ничего и не нужно было уже. — Слушай, что мы тут стоим, идем пройдемся по городу, ведь надолго уедем...

— Идем... Подожди меня здесь, я скажу на работе.

Гавхар побежала к дому комитета комсомола, а я, как во сне, глядел ей вслед...

Гавхар была родом из того же кишлака Чалыш, что и я, и знали мы друг друга с детства. Дом их стоял у самого берега Амударьи, отец ее рыбачил и еще работал в мастерской, где ремонтировали баржи, ходившие по реке до самого Арала, но все равно семья их жила бедно, гораздо беднее нас. Я любил играть на берегу, у дома Гавхар, и подружился с ней.

Гавхар очень уж сильно отличалась от всех других девочек кишлака и пользовалась неслыханной свободой, как я сейчас понимаю, оттого, что отец ее работал в мастерской вместе с русскими рабочими и дружил с ними. Рабочие любили Гавхар и, когда она приходила к отцу в мастерскую, старались угостить чем-нибудь повкуснее — то пряником, то куском сахара. А вот родственники наши не одобряли ни Гавхар, ни ее отца; меня даже бранили, если становилось известно, что я был в мастерской... Но мне и горя мало! Гавхар любила принимать участие в наших мальчишеских затеях и играх, но часто мы с ней, оставив приятелей, уходили вдвоем вдоль реки, далеко-далеко, или смотрели, как работают в мастерской... Когда я выходил из дома, я всегда знал, где найти Гавхар: летом чаще всего мы сидели вдвоем на берегу Амударьи в зарослях джиды, болтали, мечтали, смеялись, выдумывали разные разности, и нам не бывало скучно друг с другом.

А когда наступали сумерки, и воздух наполнялся стрекотом кузнечиков, и начинали свой концерт лягушки, а от кишлака слышалось бляенье ягнят, мы поднимались

на холм возле зарослей джиды и слушали в прохладном воздухе нехитрую эту мелодию, и было нам страшно и хорошо в темноте среди звуков ночи, и все это еще больше сближало нас...

Однажды, как раз перед нашим отъездом в Ургенч, Гавхар упала с дерева и вывихнула ногу. Позвали людей моего отца, и он сердито ворчал — никогда, мол, не видал такой озорницы, безобразия какое!

А мама моя смеялась и сочувствовала. Может, даже завидовала такой свободе, а?

Через несколько дней мы всей семьей уезжали в Ургенч.

Я пошел проведать Гавхар — она лежала на веранде, на тахте, и скучала и маялась без беготни и игр. Увидела меня — обрадовалась, заулыбалась, попробовала подняться. Но разговор вышел грустный.

— Значит, уезжаете?

— Да, завтра...

Она молчала, я тоже — у меня комок подступил к горлу... Ну зачем, для чего родители переезжают в Ургенч? Чем здесь было плохо? Как я не любил их в эту минуту, как хотел остаться!

— А у нас корова отелилась! — сказала вдруг Гавхар.

— Когда?

— А ночью... Теленочек красивый такой, я за ним ухаживать буду... А завтра мы молозиво будем варить. Ты любишь?

— Да.

— Я тоже... Я уже ела один раз — ох, до чего сладкое! — она даже зажмурила глаза от удовольствия. А когда открыла их, они снова были грустные. — Значит, мы теперь больше не увидимся?

— Как... не увидимся? — растерялся я.

— А разве... разве вы еще приедете?

— Не знаю...

— Ну, когда вернешься, я уже поправлюсь, вместе пойдем джиду собирать, в этом году много-много соберем... ее много в этом году... А этот Ургенч, куда вы едете, далеко от нас?

— Папа говорит, целый день ехать надо.

— А я вот поправлюсь и тоже приеду в Ургенч, мой папа обещал взять меня!

Гавхар улыбнулась, и я успокоился. На прощанье я принес ей подарок — выстрогал деревянный кинжальчик, покрасил грифелем от карандаша, и получилось —

будто стальной; я незаметно сунул кинжальчик под подушку Гавхар.

Дома уже сердились, ожидая меня: пора трогаться, куда пропал! Я взобрался на арбу, уселся на вещи и с высоты увидел: у ворот своего дома стоит, опираясь на палку, Гавхар — допрыгала, что ли, на одной ноге? У меня защипало в носу и на глаза навернулись слезы...

Арба тронулась, и Гавхар смотрела нам вслед, а я смотрел на нее, пока туча дорожной пыли, взбитой колесами арбы, не разделила нас.

С тех пор минуло несколько лет, и я не видел все это время ни Гавхар — так ей и не удалось приехать в Ургенч, — ни ее отца... И вот теперь не сразу узнал ее — тощий черненький чертенок с косичками превратился в красавицу...

Но вот Гавхар вернулась, и мы пошли по улочкам нашего города, сами не зная куда, — девушка впереди, а я, стесняясь и все еще немного робея, чуть сзади... Вышли к ханскому дворцу, — горячий воздух, казалось, дрожал у раскаленных под солнцем глинобитных стен.

Миновали духовное училище — медресе; теперь в этом здании была школа, и оттуда почему-то вкусно пахло жареной рыбой. Я потянул носом и сказал:

— Давай завернем на базар, а?

— Да, — согласилась Гавхар, — я тоже голодная.

Базар напоминал большой муравейник, со своей особо устроенной жизнью, приливами, отливами, течениями и водоворотами. Мы едва не потеряли друг друга. Наконец добрались до цели — и наградой нам были куски только что поджаренного сома на глиняной плошке. Потом мы ели, обрывая по одной, длинные, с мизинец, и прозрачные виноградины, и, кажется, я в жизни не ел ничего слаще. Гавхар не отставала от меня...

— А там... — она помолчала, давая мне время сообразить, где «а там», — ...а там есть виноград, как ты думаешь?

— Давай заглянем сюда...

Вдруг базар вокруг нас угрожающе загудел, толпа с криками хлынула к воротам.

Гавхар встревожилась:

— Идем посмотрим, что случилось.

— Идем.

Вместе с толпой нас вынесло на улицу.

— Что случилось, куда все бегут? — спрашивал я у людей, но они, кажется, и сами не знали, почему опустел базар и что ожидает нас там, куда мы направляемся.

Вот мы поравнялись с караван-сараям, и движение замедлилось. Я почувствовал, что толпа накалена. Прислушался к крикам:

— Выше его подымите, чтоб всем видно было!..

— На арбу его, проклятого богом, поставьте, на арбу!..

Толпа качнулась, подалась назад, отступая от караван-сарая. В образовавшемся круге встал на что-то, поднялся над головами незнакомый мне человек, в халате, пожилой и седоусый. Рядом с ним появилось еще несколько мужчин, и у одного из них руки были связаны за спиной, а черная папаха лихо надвинута на самые глаза. Его сразу признали. Толпа грозно загудела, люди тесно обступили возвышение, где стояли, видные всем, связанный человек и сопровождавшие его, замелькали поднятые кулаки, раскрылись в крике рты, загорелись глаза... Послышались ругательства и проклятия, забились в истерике женщина...

— Лю-у-уди! Тихо! — закричал с возвышения седоусый, и голос его слышен был в реве и плаче. Он поднял над головой руки. — Лю-у-уди!

Толпа поутихла, только всхлипывала поблизости женщина.

— Слушайте, люди! — бросил в толпу седоусый — его, видимо, знали и потому слушали. — Есть здесь кто-нибудь, кто не знает этого человека? — Он показал на связанного в черной папaxe.

— Нету, нет! — раздалось несколько голосов у возвышения.

— Кто же перед вами, скажите, люди!

— Палач! — в несколько голосов будто выдохнула толпа.

— Да, это палач! Он перед вами! Палач хана! Он убивал вас, люди, сегодня он в ваших руках! Что делать с ним, какого наказания он достоин?

— Смерть! — снова выдохнула толпа.

— А ты что скажешь? Подойди сюда! Вот он, перед тобой... — И пояснил толпе: — У этой несчастной двух сыновей зарезал, отродье собаки!.. Говори же! Вот он, перед тобой, — убийца твоих сыновей!

Связанный попятился.

Но старуха не поднялась из толпы, я услышал лишь сдавленный голос:

— Пусть ослепнут мои глаза, если еще увижу его!

— Грех говорить так! — прервал ее седоусый. — Пусть он не увидит тебя — правильно я говорю, люди?

Толпа загудела, палач втянул голову в плечи. И вдруг я увидел его глаза — каким огнем, какой злобой горели они!

Говоривший с толпой старик придвинулся к палачу, сорвал с его головы папаху, бросил вниз. Легкое движение толпы — и клочки папахи пропали под ногами.

Палач нагнул бритую голову и стал похож на быка, готового броситься и растоптать.

Седоусый снова обратился к толпе:

— Аминь! Аллах велик! — Он поднял руки, будто в молитве. — Аминь! Возьмите его!

Сильным пинком он столкнул палача вниз, под ноги ждавших этой крови людей...

— Господи, как же... — я не мог даже договорить.

Гавхар обернулась ко мне, лицо ее побелело.

— Да, его нужно было судить. Но кто из этих людей сейчас поймет...

Толпа с криком боли и торжества сомкнулась, и уже не было пустого места у возвышения, а было лишь колышущееся море голов и движение...

Вдруг послышался вопль старухи:

— Мне! Дайте мне!..

Гавхар потянула меня за рукав, и мы стали выбираться из толпы. Молча прошли по улочкам, вышли за городскую стену и, не сговариваясь, направились к небольшому озеру, поблескивавшему невдалеке, и все это время мы не могли говорить друг с другом, чувствуя себя причастными к расправе там, на городской площади...

— Страшно... — первым заговорил я. — Один — и толпа... Этим и страшен самосуд — пощады просить не у кого, на милосердие или жалость надеяться нечего...

— А он... он вспоминал о жалости? — Гавхар приостановилась, лицо ее побледнело от гнева. — Ты думаешь, он считал за людей тех, кого убил, или посчитал бы людьми нас с тобой?.. Такие, как он, — голос ее зазвучал тише, — такие звери убили моего отца... А маму... связали, и руки и ноги скрутили — и в огонь, в горящий дом... сожгли в собственном доме...

Я слушал тихий рассказ Гавхар и не мог поверить — не ей, а себе, что вижу и слышу ее, что она стоит передо мной и говорит наяву, а не в кошмарном сне... Я же знал их, я же... господи, да как же это может быть!

— Как же это может быть! Когда?.. И кто?

Мы двинулись дальше, к озеру, и Гавхар рассказывала, не глядя на меня.

...Это случилось почти два года назад. На кишлак напали басмачи, неожиданно — кто-то из местных предупредил их, когда соберется и будет заседать кишлачный комитет. Схватили всех и тут же, не рассуждая долго, всех расстреляли, и отца Гавхар тоже, он был председателем комитета... Потом согнали жителей кишлака, и на глазах у них подожгли дом председателя, и связали мать Гавхар, и бросили живую в огонь... «Кто выйдет за большевика — каждую ожидает такая судьба! От нас не спрячешься!»

— Их поймали?..

— Нет. Сумели уйти от погони... А ты говоришь — самосуд, страшно... А я бы своими руками задушила... За отца, за маму, за всех наших... Совсем одна я теперь осталась, вот... — печально закончила она.

— Прости меня... — Я хотел еще добавить: пусть она не думает, что одинока, я буду охранять и защищать ее, но не посмел сказать.

Наконец мы подошли к озеру и присели на траву; плакучая ива опустила тонкие ветки к самой воде, было тихо и грустно, Гавхар сняла свою кожаную курточку; она сидела по-восточному, скрестив ноги, и закрыла глаза, то ли прислушиваясь к чему-то, то ли просто отдыхая. Я хотел заговорить с ней, она не ответила, сидела задумавшись. Так мы просидели долго, наверное с час. Но я хорошо знал Гавхар и помнил, что она и в детстве была такая: что-нибудь встревожит ее — притихнет и долго-долго сидит, спрятав лицо в ладонях... Да, но тогда я знал, что взволновало ее, а сейчас я только гадал о том, где ее мысли — в кишлаке ли, в местах нашего детства, или у пожарища — всего, что осталось от ее дома, или у могилы родителей, или, может быть, она уже в Москве? Как хорошо, что мы едем вместе!

Вечерело. От воды потянуло прохладой, набежал, поиграл прядкой волос Гавхар и улетел куда-то ласковый ветерок. Где-то поблизости заквакали, залились на разные голоса лягушки. Гавхар надела кожанку, взглянула на меня, улыбнулась:

— Помнишь, сколько джиды росло на берегу?

— Гм... ты с какого дерева тогда свалилась?

Гавхар засмеялась:

— Вовсе и не там... Это когда я воровала джиду...

— Господи, зачем же воровать — в каждом дворе полным-полно, везде растет!

— Да, но я охотилась за чилан-джидай, она особенно вкусная, — принялась объяснять Гавхар. — Для мамы... Она не знала, конечно, что без спросу таскаю... Настаивала она эту джиду и пила... Полезно для здоровья, говорят. Только вот росла эта джида в саду у твоего дяди, больше ни у кого не было. Я сколько раз собирала — понемножку, никто и не замечал... А тут вот прыгнула неудачно, показалось, дядя твой в сад пришел...

— Что ж меня не попросила, я бы сам для тебя нарвал!

— Постеснялась я... И так твоя мама, я видела, целое сито унесла от дяди в тот день...

Я погладил руку девушки, она печально улыбнулась.

Мы еще долго разговаривали в этот вечер, вспоминали детство, родителей, наш кишлак... За то время, что мы не виделись, и Гавхар и я потеряли родителей, и общее горе сближало нас...

Стемнело, на бархатном небе разгорелись крупные звезды, показался неяркий месяц; вода засеребрилась в лунном свете; протяжная светлая песня послышалась за озером, — мы замолчали, прислушиваясь, потом, не сговариваясь, обошли озеро. В темноте мы разглядели лишь удаляющуюся тень: человек, видно, разобрал запруды в арыке, пустил воду на поле и уходил дальше.

— Красивая песня, — сказала Гавхар, — красивая и счастливая... А ты — счастливый? — вдруг спросила она.

Я улыбнулся:

— А ты?

— Я — да. Я очень счастливая...

— И я тоже...

Она коснулась моей руки, и сердце мое запрыгало в радостном волнении.

Когда мы вернулись к комитету комсомола, где жила Гавхар, было уже поздно, город казался вымершим, и было трудно представить, что днем эти улицы наполняла бурлящая, разгневанная толпа... Все спокойно было и тихо...

— До свидания!

— Увидимся завтра?

— Нет, завтра я должна съездить в Хазарасп, — родители одной из девушек не хотят отпускать ее в Москву... Но послезавтра я буду ждать тебя...

— До свиданья...

Гавхар ушла к себе в дом, я же побрел по сонным улицам, не видя, куда несут меня ноги.

Я чувствовал себя счастливым избранником, баловнем судьбы: я повстречал Гавхар, мы вместе едем в Москву!

Позади останется этот, так и не ставший мне родным, город, его пыльные закоулки и глиняные домишки, чахлые, полусохшие деревья и нескончаемая духота, наполненная страстями и схватками тревожная жизнь — все, все останется позади.

А впереди — учеба, Москва, Гавхар будет рядом со мной...

Я тихонько брел куда-то, кажется, даже начинал петь и не видел вокруг развалившихся глиняных стен, — меня окружали пышнолистые деревья и дивной красоты цветники, а среди них поднимались белые дворцы... Так я представлял себе Москву...

Я брел, как во сне, и понимал, что это сон, и не хотел, чтобы он прервался, — никогда в жизни еще не было мне так хорошо.

У бывшего ханского дворца — теперь здесь помещалось правительство республики — меня окликнул грубый голос:

— И не стыдно тебе, парень! В твои-то годы так напиваться! Куда смотрит твой отец!

Я очнулся от грез и увидел перед собой старика с ружьем — сторожа у ворот дворца.

— Да не пил я, отец, не беспокойтесь!

— Гм, вроде на пьяного ты не похож! — удовлетворенно заметил старик и добавил, довольный: — А я вот, правду говоря, не без греха — выпиваю, случается со мной, да... Сейчас-то я, конечно, как стеклышко, — он покачнулся, — на посту я стою, вот! Видишь, — он поднял ружье, — вся власть у меня, вот! В этих трудовых руках! Но когда радость в доме — отчего ж... Сын у меня уезжает учиться в Москов, не слыхал?..

— В Москву?

— Ну да... Не знаешь его? Сам, наверное, нездешний, да? Его тут все знают, моего сына, — Джуманазар зовут, не слыхал? Так я — его отец! Знай: учиться едет мой сын Джуманазар, послезавтра его провожаю, всего двенадцать их едет, и мой сын там... — Старика так и распирало от гордости: видно, не будь он на посту, тоже не прочь был бы, как и я, побродить по городу и напевать что-нибудь себе под нос. — Скажи ты мне, сынок, вот что — какое, по-твоему, по-молодому, самое лучшее ученье? Сам-то чему учен, а? Чему сына научить?

— Не знаю, отец, он сам выберет.

— Да глуп он еще! «Хочу, говорит, при машине быть... На пароходе плавать по Амударье хочу...» Я ему: «Дурень

ты, говорю, что ж ради машины в такую даль забираться, в Москов ехать? Нет, ты учись самому лучшему ученью, а самое лучшее ученье — у товарища Ленина! Не сделаешь по-моему — не дам тебе родительского благословения и в Москов не пущу!»

Старик, видно, был очень доволен собой и ждал одобрения своим словам. Когда я, соглашаясь, закивал головой, он внушительно закончил:

— Вот и ты, сынок, с пути не сбивайся! И не пей — ни-ни!.. Погоди-ка! — Он вернулся к своей скамье у ворот, достал из-под нее мешок, добыл оттуда дыню и отрезал мне тяжелый ломоть: — Бери на здоровье!

Домой я вернулся поздно. Моя хозяйка, старая Султанпаша, не ложилась, ожидая меня.

— Слава аллаху! Пришел наконец! — обрадовалась она. — А я уж думала, не уехал ли, часом, и попрощаться не зашел...

— Ну что вы!

Но добрая старушка уже не слушала меня, суетилась у очага и скоро поставила передо мной ужин — яичницу с кислым молоком. Села рядом и ласково, как на сына, смотрела на меня — как я ем. А я был голоден, еда была вкусная, и яичницы вмиг не стало...

Кажется, это было в последний раз — я чувствовал себя дома, будто у родных, и ел пищу, приготовленную для меня заботливыми руками...

IV

Утром я отправился на курсы, где работал, получил расчет и простился с товарищами. Все завидовали мне, моей поездке, и я стал уже считать часы, оставшиеся до отъезда.

Когда я вернулся домой, тетушка Султанпаша встретила меня на улице и предупредила, что пришел какой-то человек и ожидает меня.

Смутное беспокойство шевельнулось во мне, когда я увидел чернобородого мужчину в годах, увидел щелочки его глаз. Будто взгляд этот кольнул меня...

— Вы Бекджан? Я привез письмо от вашего дяди. Прочтите при мне.

Я удивился, взял письмо. Никогда дядя не писал мне, что-то особенное должно было случиться...

Я встревожился уже не на шутку.

«Бекджан, мальчик мой,— писал дядя,— я получил весточку от тебя и узнал о твоей поездке. Не хочу таить от тебя свои мысли: не по душе мне твое намерение. Ты знаешь о моей любви к тебе, плохого не посоветую, и говорю откровенно, и надеюсь, что простишь, не обидишься на меня, не отвернешься...

Я хотел бы приехать к тебе, увидеть и обнять тебя, но человек нынче не хозяин своей судьбы!

Как раз в тот день, когда пришло твое письмо, власти выгнали меня из дома твоего отца, и я должен уйти из Ургенча. Власти описали имущество и тут же увезли; дом, библиотека, все хозяйство разорены... Что я, несчастный, мог сделать? И еще ты знаешь: за два дня до того приехали люди из нашего родного кишлака и принесли скорбную весть — все мои земли, и дом, и все имущество власти отобрали себе... Теперь мы нищие с тобой, мой Бекджан... Что мне остается, горемыке, — пойду по миру, буду искать себе пристанище. Но я еще вернусь! Еще найду я тех, кто разорил меня, лишил дома и земли!

Власти говорят, что я — бай, что, мол, как паук, сосал кровь дехкан... Ну, обо мне разговор впереди, они меня еще не раз вспомнят, — но в чем провинились твой отец, твоя мать и ты сам? Что плохого твой отец, твоя мать сделали этим голодранцам? Лечили их, призирали, кормили — и те, как бешеные псы, кусают дающую руку! Почему ты, мой племянник, должен быть нищим?

Перед уходом побывал я у могил твоих отца и матери. Кто теперь присмотрит за ними, кто зажжет светильник в изголовье?.. Не пора ли вернуться к могилам родных и защитить их от позора.

Впрочем, ты человек взрослый и, конечно, подумаешь, прежде чем сделать важный шаг. Скажу одно: я на твоем месте не поехал бы в Москов — не поехал из уважения к памяти отца и матери, к их погубленным жизням. Пусть отправляются туда голодранцы, им нечего оставить здесь.

И еще предупреждаю: ехать опасно, мало ли что может случиться в дороге...

Если захочешь увидеть меня, тебя проводит тот человек, что привез письмо, или можешь спросить обо мне в Ургенче у Бердара-сапожника...»

Меня словно окатили ледяной водой, я смотрел в растерянности на незнакомца, мысли мешались в голове. Наконец я спросил:

— Где сейчас дядя?

— Два дня пути.

Я не знал, что делать.

Приезжий поднялся:

— Если понадоблюсь, найдешь меня на базаре.

Он ушел, а я все не мог сообразить, что же мне делать. Наконец я словно очнулся. Бросился на курсы, — там у нас были на случай хозяйственных надобностей лошадь и арба, а при них арбакеш. Я упросил его дать мне лошадь до завтрашнего утра и, не теряя больше времени на сборы и раздумья, отправился в Ургенч.

К вечеру я добрался до нашего с дядей дома, принадлежащего раньше моим родителям. Первое, что я увидел, — настежь распахнутые ворота... Из дома, волоча за собой наш самовар — отец привез его из Ташкента, — вышла незнакомая старуха...

— Бабушка, что это вы делаете? — окликнул я ее.

— Ничего, сынок, домой вот иду. — Старуха смотрела удивленно.

— А это вы зачем взяли?

— Вах, а я и не пойму, о чем ты! — Она сладко заулыбалась. — Да ведь почти ничего и не осталось в доме... Пустой стоит. А я вот — на память об Айпаше взяла, чтоб кому чужому не досталось. А меня она так любила, так любила!.. Да и хозяев-то нет, кому он теперь нужен, — она ласково поглядела на самовар. — Сын хозяйский уехал куда-то, и не слышать его, немой Али тоже уехал, говорят... Так и стоит дом без призрения... Да сам-то ты кто будешь, сынок?..

— Я Бекджан, племянник немого Али и сын Айпаши...

— Вай улай! — Старуха испуганно прижала самовар к груди, потом, виновато улыбнувшись, повернулась к дому: — Сейчас чай поставлю!

Я вошел в дом. Окна были распахнуты, стекла выбиты, на полу — грязные следы, ошметки глины, — видно, побывало здесь немало людей. Разлетевшиеся листы какой-то книги... В кабинете отца книги грудой лежали на полу, разодранные, без переплетов...

В душе моей не осталось ничего — только горечь и гнев. Я попытался разобрать книги, рукописи — мне попались Фараби, Бируни, Авиценна... Попались сборники газелей, — мама читала из них по вечерам отцу...

Наконец я собрал все, что сохранилось из отцовской библиотеки, перевязал и погрузил на лошадь. Старуха спросила:

— Больше не приедешь, сынок?

— Нет, — сказал я. — Не вернусь... А самовар возьмите себе... Здесь он никому не нужен...

— Спасибо, сынок, да будет счастливым твой путь! А чай-то, может, вскипятить, а?

Я вывел лошадь на дорогу и пошел, повел ее в поводу... Пошел, не видя ничего вокруг... Мысленно я был в нашем осиротевшем, разоренном доме... Кто же надругался над нами? Неужели большевики?

Я вспомнил Константина Степановича, вспомнил товарищей по курсам, вспомнил Гавхар... Нет, это сделали не такие люди! А какие?

И я увидел площадь у караван-сарая, себя и Гавхар среди распаленной толпы, ханского палача с окровавленным лицом... Да, эти люди могли разорить наш дом... Я снова вспомнил Лойко — как он стоял перед отцом и как отец, уже чувствуя, наверное, смерть, спрашивал его: «Чем я-то провинился? В чем моя вина?»

Ведь он помогал всей махалле и лечил всех нищих, я же помню! Может, это достойно наказания, да? А отобрать и разорить наш дом — может, это лекарство от бедности? Средство сделать богатой ту старушку?

Я услышал, что разговариваю сам с собой вслух, и очнулся. Оказывается, ноги привели меня к кладбищу.

Начало темнеть. Я привязал лошадь к дереву и вошел за ограду... И сразу меня обступило особое молчание, а воздух стал полон особенных запахов, они что-то мучительно напоминали... и мне вдруг почудилось, что я — в нашем доме, а в соседней комнате — мама... Она каждый вечер сжигала у себя несколько сухих благовонных травинок исирык, я хорошо запомнил этот аромат, и сейчас он слышался мне в теплом неподвижном воздухе... Я шел по тропинке, и вишневые деревья вдоль нее низко и печально склонили ветви, а свет луны пробивался сквозь них и серебряными бликами, будто рассыпали целый поднос монет, ложился на песок. Мне показалось, что деревья похожи на могильщиков — стоят, скорбно скрестив на груди руки, и не движутся — боятся потревожить святую тишину...

Я свернул к могиле отца. Терпкий аромат трав смешивался здесь с теплым запахом отдыхающей от жары земли; у меня закружилась голова и запершило, защипало в горле... Я опустился перед могилой на колени и заплакал, горько и безутешно...

Раньше, давным-давно, когда мы жили здесь, я боялся один ходить на кладбище. Но сейчас я не замечал ни жут-

кой тьмы, окутавшей затаившиеся деревья и кусты, ни мертвящей тишины, ни своего одиночества... Я думал об отце с матерью, вспоминал их, свое счастливое детство и еще, и еще раз прощался с ними... Я зажег свечу на могиле отца и на могиле мамы, я очистил обе могилы от колючек, и я долго стоял у святых для меня могил на коленях...

В Хиву я вернулся под утро, напугал своим появлением старую Султанпашу, отдал ей поводья, бросился к себе в комнату и, не раздеваясь, повалился на кошму.

Смерть родного дома была как бы частью смерти родителей, обе потери слились, и я, в мальчишеских горьких мыслях своих, винил во всем Лойко, власти, большевиков, и мне почему-то все вспоминался окровавленный палач там, на площади.

V

Утром меня разбудил Константин Степанович:

— Смотри, отъезд проворонишь! — Он широко улыбался, веселый был.

— Я поздно лег... В Ургенч ездил... — Ответной улыбки у меня не получилось.

— Мне хозяйка уже сказала. Хорошо сделал, что книги привез... Пригодятся не раз...

Я вышел во двор умыться, и мне не хотелось возвращаться в дом и говорить с Лойко — как будто он сам приложил руку к тому, чтобы мой родной дом сиротливо глядел на мир без стекол...

Наконец я заставил себя вернуться в комнату. Тетушка Султанпаша поставила уже для нас миски с кислым молоком, принесла стопочку лепешек. Я не мог есть...

— Вы отправляетесь в полдень, — рассказывал Константин Степанович. — Доберетесь до Чалыша, потом лодкой вниз, к Аральскому морю, и на пароход... А там на поезд, а там и Москва не за горами! — Он засмеялся и стал пробовать угощение тетушки Султанпаши. — Да, я тебе принес... потом посмотришь, — он показал на сундук — там лежало что-то завернутое в бумагу. — Со студенческих лет сохранял... В Москве пригодится... — Он грустно покачал головой. — Жил бы сейчас твой отец, сколько радости бы узнал... Сын в Москву едет!

— Жил бы сейчас мой отец, он бы не радовался...

Константин Степанович встревожился:

— Что случилось, Бекджан?

— Я был вчера в Ургенче и видел разоренный дом моего отца!

— Ваш дом? Кто это сделал?

— Кто... Власти. Большевики!

— Бекджан, ты понимаешь, что говоришь? Впрочем... расскажи все сначала — все, что знаешь.

Когда я рассказал, он побелел от гнева. Я решил, что не стоит упоминать о письме дяди, — ведь все подтвердилось...

Лойко был взбешен:

— Невероятно! Ну, от таких «большевиков» мы быстро избавимся! Ты не волнуйся, Бекджан, — дом и имущество тебе вернут, мы все проверим. Все знают: твой отец не был нашим врагом... Но погоди-ка... А дядя твой — он ведь жил в вашем доме — ничего не сообщил тебе?

Я промолчал.

— Понимаешь... в Чалыше было несколько похожих случаев... А теперь вот в Ургенче... Ну ладно, не беспокойся, мы все расследуем и накажем виновных... Все, что случилось, не должно сбивать тебя с прямой дороги, запомни! — Он поднялся, достал часы, поднял крышку. — Пора... Через час жду тебя в комитете комсомола.

После разговора с Лойко на душе у меня полегчало. Конечно, такие, как он, большевики не тронут дом моего отца — врача, лечившего бедняков...

Взгляд мой упал на сверток на сундуке, я вспомнил слова Лойко о подарке и развернул бумагу. Увидел — почти новые студенческие тужурка и брюки. Я обрадовался, скорее надел — пришлось точно впору.

— Вах-вах, до чего красив! — одобрила тетушка Султанпаша, когда я позвал ее полюбоваться на мой новый наряд. — Этот русский... ты для него все равно что сын, я вижу...

— Он друг моего отца и мамы.

— Да будет его дорога гладкой! А скажи, сынок, — Султанпаша заговорила тише, — Ленин, он тоже урус... или наш, правоверный? Может, татарин?

— Русский он, — сдерживая улыбку, объяснил я.

Старушка вздохнула и покачала головой:

— Ну что стоило всевышнему аллаху сотворить урусов правоверными... Такие хорошие люди...

— А что бы вы сказали, если бы аллах вас превратил в кяфира — иноверца?

— Что ты, что ты! — старушка испуганно замахала руками. — Нет бога, кроме аллаха, и Мухаммед — пророк его! Не дай, всевышний, опозориться на старости лет!..

Стараясь не обидеть тетюшку Султанпашу, я удерживал улыбку, но все же рассуждения простоватой старушки немало позабавили меня.

У комитета комсомола меня встретила Гавхар:

— Что же ты так долго собираешься! А я только что из Чалыша и жду тебя... Пошли скорее...

Я посмотрел на нее и не мог глаз отвести — до того была она хороша! И светлое платье, и белые туфельки, и тюбетейка с белыми цветами, и черная тугая коса на высокой груди, и шаловливые искорки в глазах... Я таял от восторга и глупо молчал, а Гавхар, кажется, рассердилась:

— Ну что, языка лишился, да?

— Ты... я... ты... так и поедешь, в этом платье? — наконец нашелся я.

— Тебе не нравится? Я — не нравлюсь? — Она покраснела от собственной смелости.

— Смотри, украдут тебя по дороге, до Москвы не доедешь!

— Да ведь ты меня будешь сторожить! Кто ж посмеет! — Она рассмеялась, схватила меня за руку: — Побежали, на собрание опаздываем.

В комитете комсомола собрались провожающие — отцы и матери, и друзья, и городские комсомольцы, и партийцы.

В Москву отправлялось нас тринадцать человек — тут мы наконец собрались все вместе. Двое из нашей группы были туркмены, и еще была девушка-туркменка, один — каракалпак, остальные — узбеки.

Выступали провожающие, говорил секретарь комитета комсомола, говорила Гавхар, под конец выступил Лойко — ему хлопали больше всех, кто-то плакал, но я не слышал ничего и глядел только на Гавхар, видел только ее, а все остальное было как бы в тумане, и звуки доносились как бы издали.

Когда собрание кончилось, я пошел проститься с Лойко. Мы обнялись, как отец с сыном.

— Вы — наши первенцы, — сказал он, — с вас — самый большой спрос. Не подкачай! И пиши — сам знаешь, я тебе теперь вместо отца!

Я прижался головой к его груди:

— Спасибо вам за все!

— Счастливого пути тебе, Бекджан!

Во дворе уже стояли арбы, разукрашенные кумачовыми полотнищами. Я увидел своего ночного знакомца, старика сторожа, он провожал высокого молодого парня, а тот поторапливал отъезжающих.

Меня окликнули — я обернулся и увидел тетушку Султанпашу, она стояла у ворот подле большого таза, накрытого материей. Я подошел к ней.

— Вот, возьми на дорогу, путь неблизкий. И там, на арбе, еще мешочек с боорсаками... — Она вытерла слезы. — Ты ведь как сын мне... Да будет гладкой твоя дорога! — Она опустила голову и тихонько стала молиться — просить у аллаха счастья для меня в далеких краях...

Наконец арбы тронулись, и вот уже Хива осталась позади, а путь мы держали к Чалышу, кишлаку моего детства, моей родине и родине Гавхар.

Добрались мы туда к вечеру. Я сразу узнал густые заросли джиды на берегу реки... И будто ничего не переменялось здесь за минувшие годы, все было привычным и родным, будто я только вчера бегал мальчишкой по этим пыльным улицам. Те же низенькие, покосившиеся дувалы, те же домишки с плоскими крышами, те же клочки полей... Но над железной крышей дома в центре кишлака поднят был красный флаг. У этого дома мы и остановились.

Нас сразу окружила толпа. Гавхар разговаривала со своими друзьями, я же так и не слез с арбы, — я лишь смутно припоминал некоторых стариков, большинство же людей были мне незнакомы, и я чувствовал себя чужим среди них. Меня тоже никто не помнил...

И странное это было ощущение: глинобитные домишки, пыльные улочки, старые могучие чинары, богатые сады за дувалами — все переносило меня в далекий мир детства; но вот люди — люди были другие: на лицах их я видел гордость, в поведении — независимость, в разговорах — смелость... Я хотел бы стать рядом с ними, говорить как с друзьями — так говорила с нашими сверстниками Гавхар, — но я не узнавал никого, и меня не узнавали в родном кишлаке, и что-то удерживало меня, я не поднимался с арбы и не подходил к людям.

Тем временем долговязый Джуманазар, сын старика сторожа, развел у реки костер, и пора было готовить ужин.

— Бекджан, где твой таз? Иди сюда, помоги! — услышал я чистый голос Гавхар, и печали моей как не бывало.

Я будто ждал ее зова, спрыгнул с арбы и бросился к костру.

Все выкладывали свои припасы, кто-то притащил самовар, костер занялся на славу, в моем тазу решили сварить шурпу на всех, кругом звенел смех, слышались шуточки, и я с радостью обнаружил вдруг, что тоже участвую в общей веселой болтовне, и кто-то смеется над моими словами, а Гавхар смотрела на меня из-за костра, и на сердце у меня стало легко.

После ужина я подошел к Гавхар:

— Хочешь, навестим нашу джиду... Помнишь?

В густых зарослях на берегу было темно и страшно. Гавхар взяла меня за руку:

— Не пойдем далеко, я боюсь, ладно?

Я только сжал ее горячую ладонь, и мы пошли дальше.

Тихо шумела река, от кишлака долетел с ветерком аромат садов, и я необычайно сильно почувствовал, что Гавхар здесь, рядом со мной, дышит неслышно-испуганно и думает о том же, что и я...

Я посмотрел на нее, разглядел горячий блеск ее глаз — и ничего не стал говорить, только гладил тихонько ее руку. Она замерла и словно боялась шелохнуться, потом, будто в забытии, не сводя с меня глаз, неслышно и легко шагнула назад.

— Вернемся...

— Гавхар!..

— Нет, вернемся... потом... — Она не договорила, побежала по тропинке к нашему видневшемуся вдалеке костру.

Я остался на месте, счастливый, окрыленный предчувствием радости... Это ощущение жило во мне и тогда, когда я сидел уже у нашего костра и слушал вполуха какие-то увлекательные рассказы долговязого Джуманазара. Все наши внимали ему открыв рот. Только Гавхар задумчиво опустила голову... Я подсел к ней:

— Что ты?

— Отца и маму вспомнила... Пойдем завтра на кладбище, ладно? Я одна боюсь...

Мы просидели рядом до ночи, глядели на реку, слушали ее шум, наши лица озаряли всполохи огня, и будто какая-то стена отделяла нас от всех других людей...

Наутро мы с Гавхар пошли к могиле ее отца. Она была печальна и плакала, а я думал и о ее и о своих родителях и о том, как безжалостно отнеслась жизнь к нам с Гавхар. Как будто какая-то злая сила отняла наших близких! Хотя

смерть ее отца и матери была, наверно, страшнее... Я вдруг вспомнил вчерашние слова Лойко: «В Чалыше — несколько похожих случаев... А теперь — в Ургенче...» Что он хотел этим сказать? И почему вдруг спросил о моем дяде?..

Гавхар поднялась от могилы, и мы пошли.

— Бекджан, а ты веришь в бога?

— В таких местах — да, — я кивнул в сторону кладбища.

— И я тоже... У могил я чувствую, что бог есть. Но только я все равно не верю в него. Разве бог допустил бы, чтоб умерли мои родители?.. Разве они были виноваты в чем-то?..

— От судьбы не уйдешь, — сказал я, желая успокоить ее, но она рассердилась:

— Нет никакой судьбы! И бога нет, и судьбы нет! Мечь — вот что есть... Мечь тех, у кого отняли землю и богатство!

— Не все, у кого отняли богатство, — звери!

Гавхар взяла меня за руку:

— Не сердись, Бекджан, я говорю не о вашей семье. Не сердись, ладно? Ты же знаешь, как я отношусь к тебе...

Я улыбнулся.

— А ты помнишь, — вдруг смущенно спросила Гавхар, — давно, когда ты уезжал из кишлака, а у меня болела нога, ты тогда подарил мне деревянный кинжальчик... засунул под подушку и оставил, помнишь?

Волна радости накрыла меня с головой.

— Да, — сказал я. — Ничего не забыл.

— Я сберегла его... и везу сейчас с собой...

— Я люблю тебя... Я очень люблю тебя...

— И я... я тоже, — шепнула Гавхар и вдруг убежала от меня.

VI

Если существуют в этой жизни счастливые люди — я был среди них самым счастливым.

Гавхар — рядом со мной, и невозможно уже было представить мое будущее без нее и ее жизнь без меня. Подумать только! Всего несколько дней назад я не знал, встречу ли ту единственную девушку, что будет мне по сердцу, что разделит со мной все будущие дни, все радости и печали, какие пошлет судьба. А сегодня я ловил взгляд

Гавхар и видел в нем ласковый свет. Чего еще требовать от жизни?

В радостном волнении я и не запомнил, как мы простились с провожающими, как уселись в лодки. Над головой моей захлопал парус, скрипнула мачта, свежий ветерок овеял мое разгоряченное лицо — мы отчалили.

Может быть, вам приходилось спускаться на лодке по Амударье? Тогда вы поймете меня. Можно ли забыть речную гладь под голубым ласковым небом и тысячи красок по плоским, а иногда всхолмленным берегам, вспыхнувшее солнце в окне домика под чинарами, зеленые площади бахчей с крупными желтыми дынями...

Лодочники, рыбаки из Ходжейли, особенно старший, Шамурад-ака, были людьми общительными, быстро перезнакомились со всеми, как со своими. «И чего ж вас, бедных, погнало на край света, за каким таким ученьем? Остались бы лучше с нами, мы бы девушек замуж поывадали, джигитам невест нашли — и за свадьбу! Пир горой! А там и ребятишки пойдут — то-то весело! Сплошные праздники! Повернем назад, а?»

Мы смеялись, девушки краснели, Гавхар — я заметил — украдкой глянула на меня.

Полдня пролетело незаметно — мы были веселы, возбуждены, пели, шутили. У Джуманазара оказался красивый голос, а ребята-туркмены были учениками знаменитого в их краях певца — бахши. Втроем они устроили нам настоящий концерт.

Оба туркмена были похожи как близнецы, и мы путали их, не могли различить, где Атаджан, а где Берды. Каракалпак Новруз, кажется, единственный из нас был молчалив, говорил только «да» или «нет» и широко улыбался, показывая чистые и белые, точно зернышки отборного риса, зубы.

Девушки сначала стеснялись и не участвовали в нашем веселье, но Шамурад-ака сумел расшевелить их, так что вскоре разговор стал общим, будто собрались вместе близкие родственники. А самой бойкой оказалась неожиданно Раима, та девушка, выручать которую ездила Гавхар.

В полдень мы устроили обед. Рыбаки, помощники Шамурада-ака, угостили нас соленой рыбой, мы тоже достали у кого что было, и боорсаки тетушки Султанпаши были немедленно и дружно съедены.

— За что аллах наказал меня, зачем ты уезжаешь, сынок? — сокрушался Шамурад-ака. — Как можно — уехать

и не познакомить меня с такой прекрасной хозяйкой?! Женщина, приготовившая эти боорсаки, достойна моего внимания! Вы все свидетели: как только найду ее, сейчас же женюсь!

— Э-э, дорогой Шамурад-ака, что вам стоит подождать пять лет — пролетят как пташки, и Бекджан вернется и познакомит вас со своей прекрасной хозяйкой!

— Ну что ты говоришь, сынок! Знаешь ли ты, что такое пять лет? За пять лет такой мужчина, как я, найдет десять жен и всех успеет бросить!

Так мы и плыли, веселясь и балагурия, распевая песни и вспоминая смешные истории. Парус перед обедом спустили, течение несло нас к морю, и Шамурад-ака, примостившись рядом со мной на носу лодки, говорил беззаботно:

— Неплохо идем, неплохо. И ветер добрый, а сейчас парус поднимем — еще быстрее двинемся! С таким ветром за три перехода у моря будем, а там сядете на пароход, переправитесь к поезду, поезд вам подадут — поедете в Москву. Эх, мне бы ваши годы — ничего не удержало бы меня, поехал бы с вами!

— Шамурад-ака, — позвал старшего его подручный.

Что-то услышал старик в его голосе такое, что сразу оставил веселый разговор и подошел к молодому рыбаку.

Парень что-то тихо сказал Шамураду-ака и показал рукой в сторону берега. Я посмотрел — и ничего не заметил: берег ровный, за ним холмы тянутся, пусто...

— Поднять парус, — распорядился Шамурад-ака. Что-то его, видно, встревожило.

Я проследил за его взглядом, присмотрелся внимательнее — и по спине у меня побежал холодок: на одном из холмов маячил крошечный на таком расстоянии всадник.

Рядом со мной встал Джуманазар и тоже напряженно вглядывался в даль.

— Как думаешь, что это? — спросил я.

Он не ответил, а обратился к ребятам и девушкам:

— Сядьте все пониже, пригнитесь, чтоб с берега заметно не было!

— Что случилось? — поднялась Гавхар.

— Человек, — ответил за Джуманазара Шамурад-ака. — Правильно парень сказал — садитесь все.

Гавхар нехотя повиновалась. Я опустил на корточки рядом с ней, и все мы в тревоге разглядывали правый бе-

рег. Тем временем к крошечному всаднику присоединились еще два.

— Джапак, Салим, — приказал Шамурад-ака, — быстро на весла, нажимайте!

Но ветер, как назло, утих, и лодка не пошла быстрее. Шамурад-ака глянул на обвисший парус, выругался себе под нос и достал из-под скамьи прилаженное там ружье, охотничий дробовик.

Все, кто был в лодке, с тревогой следили за холмами. Всадников там было уже человек двадцать...

Ко мне подошел Джуманазар:

— Если нападут, девушек защищай. Понимаешь?

— Басмачи?

Джуманазар только головой покачал — сам не соображаешь, что ли?

Он прошел на нос, к Шамураду-ака, и там они и еще оба туркмена тихо стали о чем-то совещаться.

Один Новруз оставался спокойно-безучастным — сидел рядом с девушками, молчал и, кажется, не глядел на проклятый берег. Потом поднялся, шагнул к Салиму, который греб так, что обливался уже потом, сел рядом с ним, молча забрал у него весло.

— Ну-ка! — Он повернулся к второму рыбаку, Джапаку, улыбнулся. — Взяли! Р-раз-два, р-раз-два!

Лодка двигалась вперед мощными толчками. Салим стал прилаживать запасное весло, чтобы хоть как-то помочь товарищам, — и тут мы услышали выстрел. Потом еще... Несколько пуль свистнуло над нашими головами, но расстояние до стрелявших было велико, и это спасло нас.

Заплакала девушка-туркменка, тоненько и жалобно, опустила голову на колени и заплакала. Гавхар обняла ее за плечи...

Я подобрал какой-то металлический шкворень, ребята тоже вооружились чем попало, но ружье было одно на всех. Пока мы ничего не могли поделать и лишь напряженно ожидали то, что накатывалось на нас из пустыни.

Всадники успели уже спуститься с холмов к воде и нагоняли нас по низкому песчаному берегу.

— Много проклятых, — прохрипел Салим и угрожающе поднял весло.

Да, басмачей было человек двадцать, не меньше, они постреливали на ходу и, видно, рассчитывали догнать нас. Голыми руками нас не возьмешь, это ясно, но если дого-

нят — перестреляют с берега... Что мы им с нашими железками и единственным ружьем?

— Ну как, ребята, будем драться? — негромко спросил Шамурад-ака и каждому из нас по очереди заглянул в глаза.

Но мы и так уже стояли, не прячась, вооруженные кто ножом, кто железкой, кто веслом...

Гребцам Шамурад-ака сказал:

— Не останавливайтесь ни в коем случае! В реку они не полезут, нам бы только отмель проскочить! Устанете — сменим вас.

Налетел ветерок, захлопал и наполнил парус, лодка пошла быстрее.

— Ур-ра! — закричал Салим и потряс веслом. — Теперь не догонят, уйдем, ребята!

Джапак и Новруз гребли так, чтогнулись весла. Салим помогал им своим веслом, ветер надувал парус, и все же всадники догоняли нас.

Скоро я мог уже различить лица преследователей, один был перепоясан пулеметными лентами, и сверкал в лучах опускавшегося солнца клинок над головой переднего — басмач лихо крутил им над головой.

Шамурад-ака заставил девушек лечь на дно лодки. Только Гавхар не захотела подчиниться. Девушки дрожали от страха, Раима билась в истерике. Мы все знали о зверствах басмачей, знали и то, что в кишлаках, куда они могли нагрнуть, женщины и девушки спали ночами ожидая набега, старались вымазать лицо сажей или грязью...

— Пригнись сейчас же, не видишь — стреляют! — крикнул я Гавхар, но она только покачала головой. — Пригнись, заденет!

Девушка нехотя присела на корточки, укрылась за бортом лодки. Она оперлась рукой о днище, и я заметил, что в кулаке у нее зажат кинжал — мой деревянный детский кинжальчик.

С берега ударили из винтовок, пули вспороли воду рядом с лодкой.

— Сто-о-ой! — заорал передний басмач. Он лихо поднял коня на дыбы над самой водой и грозил нам с берега шашкой. Догнал-таки!

— Ну, останови, сын собаки, попробуй! — Шамурад-ака поднял ружье.

Грохнул выстрел, всадник уронил руку с шашкой, потом завалился на бок и медленно сполз с седла.

— Ага, ну кто еще хочет попробовать, подходи! — закричал Шамурад-ака.

Мы смотрели затаив дыхание.

С берега снова хлестнули выстрелы, уже весь отряд догнал нас. Шамурад-ака ответил, и вдруг я услышал, как рядом коротко простонал Салим. Я оглянулся — и бросился к нему — на груди у него, у сердца, на белой рубашке расплзлось красное пятно.

Шамурад-ака передал ружье Джуманазару и тоже кинулся на помощь, но Салим опрокинулся уже навзничь на дно лодки; глаза его невидяще смотрели в небо.

— Салим, Салим! — молил Шамурад-ака. — Отзовись, Салим!

Но ответить Салим уже не мог.

— Гады, собаки, бей их, Джуманазар! Стреляй же! Давай я сам!

Еще один басмач сполз на песок с седла, но тут же несколько пуль пробити борт лодки, и струйки воды показали места пробоин. Еще несколько залпов — и лодка начала потихоньку наполняться водой. Вот на что рассчитывали басмачи! Ведь впереди была отмель, и нам надо было пройти над ней, а лодка и так уже была перегружена!

Новруз и Джапак гребли что было сил; когда они откидывались с веслом назад, я видел их мокрые от пота лица. Остальные ребята помогали грести кто веслом, кто доской — чем попало; я пытался щепками, обрывками веревок заткнуть пробоины, но воды под ногами все прибавлялось, лодка заметно осела.

И вдруг под днищем заскрежетало, лодка дернулась, накренилась, и я, не удержавшись, шлепнулся на скамью...

— Джапак, что там? — обернулся с ружьем Шамурад-ака, но было уже понятно и без объяснений: мы не прошли над отмелью.

Джапак вместо ответа вдруг упал на борт лодки, перевалился в воду, и голова его скрылась под днищем.

От берега и от басмачей нас отделяло теперь метров тридцать, не больше. Шамурад-ака успел ссадить еще одного, но грохнули выстрелы из десятка винтовок, и старый рыбак повалился на дно лодки. Мы бросились к нему, он прохрипел только: «Простите меня... дурака старого... не доvez...» — и затих.

Человек десять басмачей въехали в реку и по отмели приближались к нам.

— Ну, собаки, подходи кому жить надоело! — Новруз вырвал весло из уключины, поднял над головой и достал ближнего к нему басмача — тот свалился в воду.

Джуманазар выстрелами в упор сбросил с лошадей еще двоих; я вместе с туркменами отбивался на корме, потом схватился врукопашную...

Но долго мы выстоять не могли, и скоро всех нас, избитых и окровавленных, вытолкали на берег. Всем ребятам связали руки. У меня голова раскалывалась от боли, и я плохо видел — получил сзади по голове, наверное, саблей плашмя попало... С нами не было Новруза и Атаджана; как погиб Новруз, я видел — он успел свалить веслом и второго басмача, а третий достал шашкой его самого... Куда делся Атаджан, я не знал: от удара я потерял на какое-то время сознание. Тела Шамурада-ака и Салима басмачи бросили в лодке... Джапак свалился в воду еще во время перестрелки...

С тоской, затравленно оглядывали мы реку, берег, пустыню — никого! Никто не мог помочь нам!

Думал ли я, что так скоро рухнут все мои надежды и мечты, что придется кончить жизнь на пустынном берегу под ногами вооруженных бандитов! Надежды спастись не было.

Когда мы отделились от реки, басмачи вновь окружили нас. Смеясь и грязно ругаясь, стали выталкивать из нашей группы девушек. Те заголосили. Раима вырвалась, хотела бежать. Ее сбили с ног, рванули на ней платье, она закричала. Я зажмурил глаза...

Джуманазар не выдержал. Бросился на басмача, схватил его за горло. Грохнул выстрел. Джуманазар упал на песок, опрокинулся навзничь. От уголка его рта протянулась струйка крови...

— Если хотите в живых остаться, не рыпайтесь, ясно говорю? — Плотный чернобородый басмач повел перед нами дулом винтовки, потом закинул ее за спину.

Я оторвал взгляд от тела Джуманазара, глянул на басмача и замер. Два дня назад он сидел в моей комнате!.. Это он привез мне письмо от дяди!..

Басмач тоже узнал меня, ухмыльнулся:

— И ты попался? Ай да Алибек! Знал, поди, что племянник в гости едет, а? — Он захохотал, я опустил голову.

Сразу вспомнилось мне письмо дяди с туманными угрозами обидчикам, расспросы Лойко о нем... А вдруг мой дядя Алибек тоже здесь? Ну нет, быть такого не может, какой же дядя бандит, — он же тихий... немой... поспать

любит... Я поднял голову, исподлобья оглядел оставшихся с нами басмачей. Нет, среди них дяди Али не было. Хотя неизвестно, что лучше в моем положении, — был бы он с басмачами, может, помог бы? Уж очень глупо погибнуть вот так... по дороге в Москву.

Все же тень надежды ожила во мне. Я отыскал взглядом Гавхар. Девушки испуганно жалась друг к другу, у Гавхар в лице ни кровинки, губу закусилась... Почувствовала мой взгляд, посмотрела; я кивнул ей ободряюще, она отвела взгляд.

Басмачи уселись в седла. Один хотел посадить с собой Гавхар, потянулся за ней — она укусила его за руку... С проклятьями басмач тронул коня, но хоть стрелять не стал, и то хорошо...

Нас погнали куда-то в сторону холмов, видно, хотели увести в глубь пустыни; конные басмачи окружали нас широким кольцом. Так мы и шли, связанные.

Близилась ночь. С холмов мы в последний раз оглянулись на реку. Наша лодка, накренившись, оставалась еще на отмели, два басмача что-то делали с ней, похоже, хотели подтащить ближе к берегу. Огромное багровое солнце уже коснулось горизонта, и тело Джуманазара на песке у воды казалось освещенным пламенем.

Я посмотрел на Гавхар — она тоже глядела на реку, словно оттуда неожиданно могла явиться помощь.

— А ну шагай! Живо! — басмач замахнулся на меня плеткой.

Куда нас гонят, что готовит нам ночь?

VII

Уже было темно, когда главный среди басмачей, тот самый, посланец дяди, распорядился остановиться.

Место незнакомое — кусты, редкие деревья... Басмачи попрыгали с коней. Две девушки из наших без сил опустились на песок. Гавхар подошла, склонилась над ними.

Я посмотрел на ребят — лица измученные, почерневшие, губы потрескались.

— Воды... — попросила одна из девушек.

— Сейчас, красавица, не спеши, скоро не воду — вино пить будем! — басмач приоткрыл в хищной улыбке рот.

— Чего скалишься? — оборвал другой, постарше. — Или своих детей нету?

Он полез в суму, притороченную у седла, достал фляжку, протянул Гавхар:

— Пейте.

В глубине кустарника показался огонек; вышел человек с плоской, приблизился:

— Где столько пропадали?

— Да провозились с ними, кусались, сучьи отродья... — ответил за всех чернобородый.

Человек подошел к нам, посветил каждому в лицо и, ничего не сказав, двинулся прочь. Чернобородый последовал за ним, и я услышал:

— Зачем щенков притащил?

— Один — племянник Алибека...

Так... Значит, мой тихий дядя все-таки с басмачами! Как же он попал к ним? И я его сейчас увижу? А может, тут есть и еще обиженные на власть, как дядя, — такие, у кого отобрали дом, землю?.. Но как он мог?! Они же бандиты, убийцы!

— Бекджан! — услышал я тихий шепот. — Как потвоему, Джапак спасся?

Мысли о дяде сразу как ветром сдуло: я обернулся к Берды — это он мне шептал:

— Слушай, попробуем бежать, а? Доберемся до наших, pošлю отряд, накроют этих сволочей! Рожки да ножки останутся!.. Бежим?

— А девушек оставим, да?

Берды задумался, правда, девушек с собой ведь не возьмешь — они и так с ног валяются, далеко не уйдут... И бросить их тоже нельзя. Как быть?

— Эх, хорошо бы Джапак спасся, тогда он уже добрался до наших...

— Слушай, — сказал я, — бежать нужно одному из нас, сейчас ночь, может, до утра не заметят — за ночь далеко уйти можно...

— А кто — ты или я?

— Ты... — Я ни за что не ушел бы без Гавхар.

Берды кивнул.

Потом он поднялся, подошел к басмачу, охранявшему нас, — тот сидел на песке у костерка, винтовку держал на коленях и, кажется, клевал носом. Берды наклонился, что-то сказал ему, басмач выругался, потом смягчился; развязал ему руки и кивнул в сторону кустов. Мой товарищ исчез в кустах.

— Да не сиди там всю ночь, ты, отродье потаскухи! — крикнул вслед басмач.

«Только бы ушел подальше! Только бы ушел! — лихо-
радочно думал я. — Заснул бы этот, что ли...» Я вслуши-
вался, вглядываясь в кусты, смотрел на охранника, —
в кустах все вроде было тихо, охранник дремал...

И вдруг его точно ударили — он вскинул голову, по-
глядел на куст, за которым скрылся Берды, и крикнул:

— Эй, ты, падаль, подох там, что ли?

Кусты не отозвались.

Басмач нехотя поднялся, подошел к кустам — и тут же
заорал во всю глотку:

— Убежал, убежал, собака, сюда, эй, сюда!

Из темноты возникли, подошли к охраннику человек
пять. Он, показывая на кусты, стал им объяснять...

На плечо мне легла рука.

Я обернулся — чернобородый, главарь:

— А я было думал — ты дал деру! Ну, этого мы быст-
ро... Эй, джигиты, — по коням! Догнать!

Через полминуты десяток всадников, взметая песок,
ускакали в ночь.

Я почувствовал, что рядом со мной Гавхар, обернув-
шись, я увидел в отсветах костра страх в ее глазах.

— Догонят... — шепнула она.

— Темно... — возразил я, но сам понимал ясно и тоск-
ливо: далеко ли уйдет Берды, не зная местности, пеший,
когда за ним — десяток конных, знающих все вокруг как
свои пять пальцев.

Вдалеке грохнул выстрел, донесся крик, еще выстрел.
Все стихло.

Гавхар опустилась на песок, плечи ее вздрагивали.

Надаться нам больше было не на что.

Когда конники, уходившие в погоню, вернулись, тот,
что прежде сторожил нас, снова направился к костру
и мимоходом спросил с издевкой:

— Ну, сын потаскухи, может, и у тебя брюхо болит?

Я не выдержал, шагнул ему навстречу:

— Собака! Бандит!

— Смотрите, оказывается, он еще не проглотил свой
поганый язык! — Басмач подошел ко мне ближе. — Ты
с кем так говоришь, щенок, а?!

Свистнула плеть, боль обожгла мне лицо, из глаз по-
сыпались искры...

— Ах ты, зверюга! — Стиснув зубы, я что есть силы
ударил басмача в живот ногой.

Заорав, тот согнулся в три погибели, потом стал ка-
таться по земле...

— А ты парень крепкий, себя в обиду не даешь! — послышалось у меня над ухом.

Я обернулся — чернобородый. Хотя руки мои были связаны, он крепко взял меня за локоть и так держал, пока охранник не поднялся.

— Бек! — прохрипел охранник. — Бек, отдай его мне! Отдай! Ты же видел, бек!

— Замолчи! — распорядился чернобородый. — Этот пленник — мой, понял! Веди его за мной.

Он двинулся в сторону кустов, туда, куда ушел человек с плоской, и охранник погнался следом, толкая в спину прикладом и проклиная весь мой род до седьмого колена.

Шли мы недолго, и вот уже я разглядел в ночи несколько бесформенных в темноте строений. Где-то светился огонек...

Меня подвели к одному из строений, и басмач-охранник с руганью толкнул меня прикладом в черноту двери... Я упал лицом вниз...

Подо мной песок, кругом темно, ничего не разглядеть, и, кажется, никого... Слышно, как басмач снаружи подпер чем-то дверь. Так. Это, по-видимому, до утра. Я повернулся на бок, сел. Руки мне так и не развязали, гады! Боятся!.. За моей спиной что-то зашуршало коротко и сухо — ящерица, наверное, пробежала... Я почувствовал страх... А вдруг змея? Ну что я со связанными руками? Беспомощен, как теленок! Нет, так сидеть нельзя, надо что-то делать... Посмотрим хоть, где я... С трудом я поднялся на ноги и шагнул вперед... Еще, еще... и я уперся в стену... Где же дверь? Пошел вдоль стены... И тут... Снаружи доносились крики, шум, возгласы, ругань, мольбы о помощи, снова отчаянные крики... Я похолодел — кричали наши девушки... Гавхар! Что там происходит?! Я звал, орал, ногами бил в стену, но меня, наверное, никто не слышал...

Внезапно шум стал приближаться, послышался топот, потом голос бека:

— Держи ее, уйдет!

Снова топот, потом отчаянный крик:

— Проклятые! Отпустите, кровопийцы!

Я с ужасом узнал голос Гавхар. Как помочь?!

— Гавхар! — закричал я. — Держись, не давайся!

— Ух, дочь шакала! Кусается! — послышалось снаружи. — Чего возишься, бери за волосы...

— Силы — как у породистой кобылицы! Ах, сука, кусается! На тебе, получай! — послышался глухой звук удара.

— Ну вот, теперь до утра не очухается... Полегче надо было, — упрекнул другой басмач.

Голоса приблизились, дверь распахнулась, в сером проеме показались темные фигуры. Я прижался к стене.

...Гавхар бессильно замерла на полу, и дверь захлопнулась. Голоса удалялись:

— До утра отойдет...

— А хороша, а?

— Другие тоже неплохие. Пошли скорее...

Руки у меня все еще были скручены.

Я опустился рядом с Гавхар на колени и целовал ее волосы, плечи, лицо. Она не шевелилась. «Гавхар!» — звал я — она не отвечала. Не знаю, сколько времени просидел с ней... Вдруг я почувствовал, что она уже не лежит расслабленно, тело ее напряглось.

— Гавхар... — шепнул я.

Она шевельнулась.

— Ты, Бекджан?.. Ох, Бекджан... девушек... опозорили... — она захлебнулась рыданием.

Я молча сидел рядом.

Гавхар уже плакала почти беззвучно, не разобрать — то ли плакала, то ли постанывала, и вздрагивала всем телом.

— Гавхар, милая, не надо... — шепнул я. — Встань, развяжи мне руки.

Гавхар послушно поднялась, развязала ремень, стягивавший мне запястья, и прижалась ко мне, обняла и снова затряслась в рыдании:

— Бекджан, милый, надо бежать, спаси меня, слышишь!.. Я не смогу, не переживу... Бежим отсюда!.. Придумай же что-нибудь! Если мы спасемся — выручим всех!.. Что ты молчишь? Или, может, тебя дядя спасет?! Тебя одного? Я все, все слышала! А что будет с нами, со мной, завтра...

Я обнял ее:

— Бежим, Гавхар!

Стены нашей тюрьмы были крепкие, дверь тоже не поддавалась, а поднимать шум я боялся, — услышат нас, тогда уж не уйдешь!

Я искал хоть какую-нибудь щель, еще и еще ощупывал в темноте стены — и вдруг меня осенило. Ведь под ногами — песок!

Я расковырял ямку у стены, дальше пошло легче — песок был рыхлый, легкий, и скоро я смог просунуть под стеной руку. Гавхар все дрожала от нетерпения, торопила меня. Она помогла мне расширить ход, и наконец мы бесшумно выбрались наружу.

Было, наверное, уже за полночь, и в неясном свете ущербного месяца мы осторожно пробирались меж кустов... За спиной слышались пьяные возгласы, басмачи еще веселились... Раздался тонкий женский вскрик... Гавхар остановилась в нерешительности. Ведь мы оставляли девушек в лапах бандитов! Но как иначе можно было выволить их? Кто-то должен добраться до наших, позвать на помощь... Иначе всем нам — смерть, не сегодня, так завтра, в этом сомневаться не приходилось, привычки басмачей были хорошо известны...

Я тронул Гавхар за руку. Надо было спешить, — от того, сколько мы пройдем до рассвета, зависело наше спасение.

Мы вышли из кустарника на открытое место.

— Ты знаешь, где мы? — спросила Гавхар.

— Надо вернуться к реке.

Но ни Гавхар, ни я не знали, в какую сторону идти. Мрак окутал пустыню, тусклый свет месяца не мог побороть тьму — может быть, на наше счастье, — и мы с Гавхар пошли наугад.

VIII

До рассвета мы ни разу не остановились, не присели отдохнуть. Я оглядывался все реже — погони за нами пока не было, все было тихо там, откуда мы шли. А может, еще и не хватились нас... Вполне может быть: пили, гуляли — теперь спят... Но радоваться рано — главная опасность еще впереди. Так просто нас из рук не выпустят. Хватятся с рассветом — увидят подкоп, и два десятка верховых прочешут эту часть пустыни вдоль и поперек...

Да, наше спасение в том, чтобы уйти подальше. Добраться бы к восходу солнца до реки! Хотя именно там нас и будут искать в первую очередь.

К этим мыслям примешивались другие, светлые: Гавхар со мной, я спас ее, вот она, шагает рядом, и как знать, решил бы я без нее бежать, бороться до конца или валялся бы сейчас со связанными руками, надеясь на милость дяди...

Смерти я не боялся, за минувшие сутки я столько раз пережил ее, что страха не осталось. Понимал, конечно, что, если догонят нас с Гавхар, расправа будет короткой, никто не вспомнит о том, что я племянник Алибека... «Не нашли, и все,— скажут дяде.— Не видели, не встречали...» Да и мы с Гавхар скорее умрем, чем дадимся им в руки...

Пустыня тянулась без конца и края, темная, затаившаяся. Когда налетал ветер, шуршал песок — мне чудились тысячи маленьких змей, ползут куда-то, заполнили все пространство вокруг, подбираются к нам... Змей я всегда боялся...

Начало светать.

Идти становилось все труднее, ноги вязли в песке, рубаха у меня на спине была мокрой от пота... Наше счастье, что ночь выдалась прохладная и пока не мучила жажда...

Но вот и солнце показалось золотым краешком над горизонтом, поднялось, в розовое и желтое окрасило пустыню. На душе как будто легче стало, хотя солнце и несло нам главную опасность: днем найдут скорее.

— Отдохнем немного,— предложил я.

Гавхар посмотрела испуганно:

— Устал?

— Ничего, только в глазах рябит...

— И у меня... Ну давай еще немного пройдем, а? — Она оглянулась, долгим взглядом посмотрела назад — кажется, впервые за ночь.

Я кивнул, и мы зашагали дальше. Но идти было все труднее. Я потихоньку начал отставать от Гавхар. Откуда в ней столько силы — хрупкая, светлое порванное платье на спине прилипло к лопаткам, на лбу капельки пота... И все же шагает, и шагает, и шагает — видно, что не остановится. И мне не даст. И я, сжав зубы, месил и месил ногами песок и уже только старался не отстать.

— Смотри! — сказала Гавхар.

Я поднял голову и увидел впереди гряду холмов. Гавхар смотрела на меня, и наконец-то в ее глазах была радость.

Холмы тянулись вдоль реки, вчера мы перевалили их, когда басмачи гнали нас в пустыню. Значит, за ними должна быть река?

У меня уже не было сил радоваться. Я просто смотрел и говорил себе: вон холмы, за ними река, там будет легче... Туда надо дойти...

— Доберемся до холмов и там отдохнем, ладно? — спросила Гавхар.

Я снова кивнул, и мы снова зашагали дальше. А холмы, такие уже будто бы близкие, все не становились ближе...

Солнце поднялось высоко над горизонтом, сделалось жарко. В горле у меня пересохло, я с трудом передвигал ноги, от пота щипало глаза. Гавхар тоже смахивала со лба капельки пота, шла все медленнее, но с прежним упрямым выражением на лице. Сколько мы так прошли, не знаю, мне уже начало казаться, что холмы странным образом удаляются от нас...

— Ну ладно, — сказала Гавхар, словно оправдываясь перед собой. — Давай передохнем... Уже недалеко...

Песок был горячий, и солнце горячее, и видно было, как воздух дрожит и струится над горячим песком.

Я огляделся: бескрайняя желтая равнина, не на чем остановить взгляд, только цепочка барханов справа да гряда холмов впереди выделяются в жарком желто-голубом мире, указывают нам путь.

— Я думаю, теперь уже не догонят. Только бы до реки добраться...

— По-моему, река недалеко. Холмы похожи на те, откуда они следили за нами.

Гавхар блаженно растянулась на песке, подложив ладонь под голову, и глядела в голубое небо.

— Может, и лодку нашу найдем...

— Да зачем она... На тот берег по отмели доберемся... Я сам незадолго до того, как погнались за нами, домики видел — кишлак, должно быть. Люди помогут...

И вот мы снова шагаем, и жжет солнце, и пересохло в горле, но зато холмы не удаляются больше, замерли на месте.

Потом начинают расти.

И вот мы у песчаной горы. Снизу кажется, что добраться до вершины невозможно. Мы с трудом переставляем ноги, по колено увязаем в песке, песок хрустит на зубах, но все же мы медленно поднимаемся. Потом ноги уже не держат нас, и мы ползем вверх, помогая себе руками. И вот наконец вершина холма, и мы одновременно видим где-то у горизонта серебряную полоску.

— Река... — выдохнула Гавхар и обвела языком пересохшие губы.

— Река... — подтвердил я.

Сколько времени пролежали мы в изнеможении? Наверное, немного, — серебряная полоска на горизонте манила к себе, и мы не сводили с нее глаз.

Вниз мы спускались бегом, но внизу Гавхар снова опустилась на песок.

— Что с тобой?

— Ноги...

Ступни у нее потрескались, шиколотки распухли, а выше кожа была покрыта красной сыпью. Я стал дуть ей на ноги, и она улыбнулась сквозь слезы боли...

— Ничего, река уже близко... Дойду...

— Знаешь что, давай я понесу тебя, ну-ка, забирайся ко мне на спину!

Гавхар покачала головой. Но я положил ее руки себе на плечи и заставил подняться. Она оказалась неожиданно легкой.

— Лучше ногам стало?

— Да... Только тебе тяжело, я же вижу!

— Ну что ты! Слушай, я тебя так до Хивы понесу, согласна?

Гавхар счастливо рассмеялась:

— Да! Как хорошо, что удалось бежать вдвоем... Что бы я одна здесь делала?

— Больше я тебя никогда никуда не отпущу! Остаешься со мной?

Гавхар прижалась ко мне горячей щекой. Я остановился:

— Знаешь что, Гавхар... Поцелуй меня!

Она не ответила, но я слышал, как забилось за моей спиной ее сердце...

Жаркое дыхание... и будто язычок пламени коснулся моей щеки...

— Бекджан... отпусти меня.

— Почему? Я совсем не устал...

Но она уже не обнимала меня за плечи, и я тихонько спустил ее на песок. Она закусила губу, но пошла сама, рядом со мной. Когда я нечаянно прикоснулся к ней — она отдернула руку.

— Что ты, Гавхар?

Она не ответила, молчала, все так же закусив губу, и я увидел, что она вся дрожит, ее трясло как в лихорадке... Я обнял ее, она приникла ко мне и заплакала.

У меня от жалости комок подступил к горлу: ее слезинка обожгла, скользнула по моей щеке, я гладил ее хуленькие плечи и вдыхал горьковатый аромат ее волос...

— Если б нам удалось дойти... Ты ведь не оставишь меня, Бекджан?.. Я боюсь...

— Ну что ты! Не бойся, нас уже не догонят. Теперь мы всегда будем вместе...

Она продолжала всхлипывать, говорила сквозь слезы:

— Простите меня, подруженьки. Что с вами сделали? Сама не понимаю, как я вырвалась... кусала кого-то... бежала...

Я гладил ее волосы и шептал ей на ухо:

— Не мучай себя... Еще немного потерпи, доберемся до реки, до своих, тогда и девушек освободим! Не бойся, никто не тронет тебя, не плачь... Пойдем лучше, давай я опять понесу тебя...

— Ничего... я сама...

Она вытерла слезы, дала мне руку, и мы зашагали, и Гавхар ступала осторожно, а я хотел, чтобы ее боль через наши руки ушла от нее, передалась мне...

Так мы прошли несколько сот шагов, и когда я посмотрел вперед, сердце у меня упало: на месте серебряной полоски выросли какие-то холмики...

Гавхар тоже увидела их и в тревоге обернулась ко мне:

— Что это? Где река?

— Наверное, за теми холмами, — успокоил я ее, — мы смотрели сверху, а сейчас холмы ее загораживают... — Но в голосе моем не было уверенности.

Гавхар не ответила, но старалась теперь идти быстрее.

И вот мы у невысокой гряды холмов, перевалили ее, но река точно ушла в песок — нет ее! Да была ли она? Я сам испугался своей мысли. Неужели нас обманул мираж? Я без сил опустился на песок. Гавхар оглядывалась растерянно:

— Куда же она провалилась? В какую сторону идти?

— Не знаю.

Я закрыл слезившиеся от напряжения глаза, а когда открыл — на горизонте снова мерцала серебряная полоска.

— Смотри, река, — Гавхар протянула руку, показывая на нее.

— Это не река, Гавхар. Это мираж... Мы заблудились...

— А холмы? Ведь нас вчера гнали через холмы!

— Наверное, их тут много...

Река должна быть где-то недалеко. Но где, в какую сторону идти?

Я огляделся. Кругом, до самого горизонта, мертвая желтизна пустыни, и неоткуда ждать помощи... И серебряная полоска зовет дальше в пески...

— Что же делать? — спросил я растерянно.

— Надо идти...

— Но куда?

Гавхар уверенно показала рукой налево, и я вдруг почувствовал глухое раздражение — откуда она знает?

— Слушай,— торопилась объяснить Гавхар,— нас вчера басмачи вели к востоку от реки,— помнишь, солнце садилось за спиной? А сегодня мы только раз повернули — когда подумали, что видим реку. Значит, надо вернуться... И идти, как утром... Вот увидишь, мы найдем ее!

Я не стал спорить. Конечно, река не течет по прямой, и можно искать ее в песках хоть несколько дней... Но все равно — надо же куда-то идти... А правильно мы идем или опять плутаем — это увидим потом...

Теперь нас мучила не только жажда, но и голод... Губы у меня потрескались и болели, было трудно дышать... Я уже не думал о реке и хотел только одного — чтобы солнце вскоре опустилось и вечер принес облегчение... Ноги мои были растерты и саднили, я ощущал каждый гвоздик, каждый шов своих сапог, но стащить их с распухших ног уже не мог.

На ноги Гавхар я боялся смотреть. И все же сильнее всего мучила жажда.

— Господи, хоть бы глоток воды, хоть один, и тогда бы я уж дотерпела... — не выдержала, пожаловалась Гавхар.

Я не ответил. Где его возьмешь, этот глоток?... Колодцы в пустыне есть, но, как я слышал, только на старых караванных дорогах... Или наоборот, дороги прокладывали от колодца к колодцу... Вода в них, наверное, холодная, жара ведь под землю не проникает...

— О чем ты думаешь? — спросила Гавхар.

— О воде...

— И я... Сейчас бы выпила целое ведро... Помнишь колодец в нашем дворе? Я нашу корову всегда колодезной водой поила, сама для нее доставала... Мама говорила, пусть пьет из арыка, ничего с ней не делается, только наша корова из арыка не пила, привыкла к чистой воде... Вода у нас в колодце холо-одная была, и в ведро попадались большущие жабы... Говорят, жаб надо опускать в молоко, чтоб не скисло...

Гавхар вдруг запнулась и показала рукой — смотри.

Чуть в стороне поднимался над песком небольшой кустик, вроде колючки. Мы скорей свернули к нему. Низенький, стебель сухой, мелкие веточки с желтыми листиками. Я оторвал веточку — излом был влажным — и отдал ее Гавхар, она слизнула влагу и сморщилась, выплюнула.

— Горько...

Я попробовал тоже — ужасная горечь. Мой отец умел лечить травами и не раз показывал мне полезные чем-то растения, рассказывал об их целебных свойствах. Но что это за куст с таким горьким соком, я не помнил. Машинально я подергал стебель — и вдруг песок вокруг него стал проваливаться, посыпался куда-то вниз, и я увидел отверстие, дыру с твердыми краями, и с них струился вниз песок...

Гавхар испуганно понялась, я тоже сделал шаг назад.

В самом деле, может, там гнездо змеи!

И вдруг я понял!

— Гавхар, ведь это колодец! Там должна быть вода!

Я легко вытащил с корнями куст и отбросил его в сторону, потом торопливо стал выбрасывать из ямки песок. Вот моя рука задела за что-то твердое, показались сухие ветки, какие-то корни... Я начал выдергивать их и понял, что это настил... Мы были над колодцем, прикрытым настилом и засыпанным песком!

Я уже не помнил ни об усталости, ни о реке, ни о басмачах. Лихорадочно раскидал песок, расчистил настил из корневищ саксаула... Разобрал — под ним оказался еще настил, плотно уложенные жердинки. И вот — застоявшийся воздух, запах сырости, в темном провале — звонкое шлепанье: кап, кап, кап, кап... О, какая это была музыка! Я смеялся, я орал в полный голос:

— Вода, Гавхар, вода! Ты слышишь? Иди послушай! Какает!..

Гавхар склонилась над колодцем и жадно всматривалась в звенящую глубину.

— Как часто капает... Будто что-то живое там... Как же мы ее достанем? Наверное, здесь глубоко, да?

— Попробую спуститься.

Стенки колодца оказались плотными. После недолгих поисков я обнаружил углубления в них, куда можно было поставить ногу... Колодец был неглубокий, в полтора моих роста, и в полутьме на дне я увидел посудину, полную до краев: с наклонного желоба, спускавшегося от стены, в нее бежала по капле вода... Я осторожно поднял посудину — чугунный котелок. О, какая вкусная, какая холодная была в нем вода! Я мысленно благословил неведомого нашего спасителя, того, кто нашел источник и вырыл колодец... Второй глоток был еще слаще первого — каждая моя жилка отозвалась на него, исчезло мутное безразличие,

голова стала ясной... Третьего глотка я не сделал — подал котелок наверх, Гавхар.

Она приняла котелок и тут же жадно стала пить... Я мучительно хотел глотнуть еще, но увидел, как дрожат ее руки, и жалость сдавила горло. Я отвернулся, не стал смотреть, как она пьет, и сказал только:

— Осторожнее. Не пролей...

Она поставила котелок на песок, передохнула и снова стала пить. Потом отдала воду мне.

И вот снова капли стучат о пустое дно котелка, а я поднялся из колодца к Гавхар и вижу наконец ее счастливую улыбку... Лицо бледное и осунувшееся, но в глазах — свет.

— Отдохнем здесь, Бекджан, хорошо? А быстро котелок наполнится?

— Быстро. Слышишь, как шлепает, — значит, на дне уже есть вода.

— Хорошо бы умыться, а, Бекджан?

— Потерпи, скоро будет тебе полный котелок.

— Я готова ждать без конца... никуда не уйду от воды! Как хорошо здесь, правда, Бекджан?

Пока мы умывались, пока снова наполнялся котелок, пока мы пили и снова и снова наслаждались колодезной водой, прошло время, и над пустыней сгустились сумерки, загорелись на фиолетовом бархате неба яркие близкие звезды. Посвежело, но песок еще отдавал тепло, и мы, перед тем как растянуться у колодца в блаженной истоме, разбрызгивали на песчаном ложе несколько пригоршней воды.

Я смотрел на звезды и ни о чем не думал. Гавхар закрыла глаза и не шевелилась, лишь чуть заметно подымалась и опускалась в такт дыханию грудь...

Я чувствовал это в себе и догадывался, что и в Гавхар совершается то же: долгожданный покой, разлившийся по клеточкам и жилкам моего тела, коснулся и души. Теперь я мог вздохнуть свободно, наконец, мы не бежали, а просто надо было хорошенько отдохнуть перед завтрашней дальней дорогой, собраться с силами и выйти во что бы то ни стало к реке. Если бы еще голод не мучил так... Но налитый водой желудок чуть притих, а о том, что будет завтра, я старался не думать... Хорошо было лежать в теплой тьме, не чувствовать своего тела — будто плывешь между звездами и землей...

Да, было хорошо, и я вспомнил ласковые теплые вечера в родном кишлаке, молочный свет луны, шелест речных струй.

У нас с Гавхар были любимые местечки, и там можно было сидеть, и молчать, и слушать реку, ветер, ночь, а из кишлака доносились женские голоса — матери сзывали ребятишек по домам.

И рождалось сладкое и тревожное ожидание наступающего дня, — казалось, он несет загадочное и волнующее, что-то случится радостное, он не пройдет просто так, он откроет неведомое... Наверное, это и было счастье...

Наутро я забыл о вечерних мечтах, и день пролетел, как обычно, в ребячьих заботах, радостях, играх, ссорах, учебе... А потом снова приходил вечер, и воздух наполнялся ожиданием таинственного, и снова я ждал, чтобы скорее наступило завтра...

— Бекджан, о чем ты думаешь?

— Вспомнил наш кишлак... Как мы там быстро находили реку...

— Да... А я думала о Москве — будем жить там долго-предолго, пять лет... Будем ходить по улицам, где жил Пушкин... Я полюбила его стихи, знаешь... «Я вам пишу, чего же боле, что я могу еще сказать...» Они у меня здесь, — Гавхар тронула рукой грудь.

— А я люблю «Капитанскую дочку»...

— И тебе нравится Маша Миронова?

— Очень... Как она любила Гринева! И сама красивая — у нас дома была книжка с рисунками... Наверное, и в жизни была красивая... А больше всего нравится то место, где Гринев ее из неволи освобождает... Он — герой!

— А по-моему, герой — Пугачев! Настоящий большевик.

— Разве тогда были большевики?

— Конечно! Они были всегда, только их называли иначе... Но как Гринев освобождает Машу — мне тоже нравится... Если бы у нас было все как у них, правда?

— Так и будет...

Гавхар снова надолго умолкла, смотрела широко открытыми глазами в небо и улыбалась. О чем она думала, куда залетели ее мечты?

Наконец она посмотрела на меня.

— Ты была где-то далеко?

— Я думала о тебе... о нас.

Она приподнялась на локте, склонилась надо мной, лицо ее приблизилось к моему лицу, и я увидел ее глаза —

в них был вопрос, и тревожное ожидание, и сомнение, и... свет — вот что было в них.

И я захотел, чтобы ее глаза стали еще ближе, я обнял ее и прижал к себе, и она обняла меня...

Вот так, под звездами пустыни, где стенами были стороны света, а крышей — небо, тропинки нашей любви слились в одну...

Потом Гавхар сладко спала, свернувшись калачиком, а я смотрел на нее, и радость в моей душе мешалась со страхом, — я не был готов получить то, что отдала мне Гавхар, и близость наша не принесла мне покоя... и я влюблен был, и счастлив, и одновременно встревожен и испуган...

Что нас ждет? И до чего же беззащитны мы перед пустыней! И хоть огромно чувство, распирающее мою грудь, — как мала и беспомощна наша любовь перед песчаной бескрайностью, перед сотней злых ее сил, что обрушатся на нас с рассветом, — палящее солнце, голод, басмачи... и выйдем ли мы завтра к реке... и если нет, то пострадают ли нам еще набрести на колодец? И сколько раз обманет нас, увлечет в сторону от реки коварный мираж?

Когда же началась эта дорога, что завела меня сюда, где ступил я на нее? Ах, если бы вернуть все к тому счастливому времени детства, к той счастливой жизни в кишлаке! Если бы не было всех этих потрясений, жили бы мои родители, и мы с Гавхар были бы счастливы в тихой, мирной жизни, в нашем доме с садом... Но нет, нет нашего дома, и не только горячие версты песка отделяют меня от него... Ведь дом отобран, имущество конфисковано, я нищий... Кто прав, где правда? У Гавхар она есть, своя правда, я знаю, но одна ли она у нас, или моя правда должна быть иной? И не ее ли правда завела нас сюда, в пустыню?

И снова я смотрел на спящую Гавхар, и тревога уходила, волна радости смывала сомнения...

Я долго не мог заснуть...

IX

Первое, что я увидел утром, — Гавхар, сидит рядом на песке, смотрит на меня, улыбается.

— Долго же ты спишь, смотри, солнце уже поднялось! А я рано проснулась, испугалась — где это я? Потом тебя увидела... — Она покраснела и опустила глаза.

— Доберемся сегодня до реки?

— Обязательно!..

...Я спустился в колодец, подал Гавхар котелок, мы напильсь и ополоснули лица. Потом я поставил котелок под желоб и растянулся на песке: ноги не держали меня — все-таки вторые сутки ничего во рту не было...

— Ты... не хочешь идти?

— Подождем, пока котелок наполнится, возьмем с собой.

— Как же можно? А если еще кто-нибудь, как мы, придет к колодцу — ведь они не смогут даже напильсь! Не во что будет набрать воды! Не мы принесли сюда котелок, не нам его и забирать! Надо его оставить, Бекджан... А мы дотерпим... река должна быть где-то близко!

— Ладно, дотерпим... — Я невесело усмехнулся: вот они, две разные правды, — ее и моя... Попробуй соедини их в одну!

Я закрыл колодец настилом, воткнул сверху давешний кустик, чтобы заметно было издали: здесь вода, — и мы тронулись дальше.

Мы одолели гряду барханов — впереди замаячила цепочка холмов. Добрались до холмов, вскарабкались наверх — впереди, куда ни достанет глаз, песок и снова барханы...

А за ними — опять холмы?

Я понял, что так будет повторяться без конца, что мы заблудились окончательно, и без сил повалился на песок.

Гавхар, не сказав ни слова, опустилась рядом со мной. Сколько времени я пролежал так — не скажу, кажется, я забылся каким-то тревожным полусном. Но и закрыв глаза, я видел только желтую бескрайность...

Когда я пришел в себя, Гавхар начала ободрять меня; она глядела на меня с жалостью, говорила, что мы идем правильно, что мы не можем заблудиться, говорила, что нельзя оставаться на месте, надо идти... Она хотела помочь мне подняться...

А я, казалось, не в силах был пошевелить рукой, я будто растекся по песку, меня не было, и я не знал уже, хочу ли я встать, хочу ли я идти — или только лежать и не двигаться... И то, что Гавхар пыталась заставить меня подняться, было насилием и раздражало, и глухая злоба рождалась в груди...

Когда же я усилием воли стряхнул с себя оцепенение, стыд залил мне краской щеки: что ж это я? Гавхар, жен-

щина, — сильнее меня? Она может идти, а я — нет? Разве ей не труднее?

Превозмогая слабость, я поднялся и сделал первые не-твердые шаги. Меня тянуло лечь, я чувствовал дурноту, но заставлял себя считать шаги и шел вперед...

И снова был песок, барханы, холмы, снова песок, барханы, холмы, и снова, и снова... Гребни барханов сверкали под солнцем, и нам несколько раз казалось, что это наконец лента реки... Но реки не было, и где она — мы не знали. Может быть, мы уходим от нее? Хоть колодец-то наш мы сможем отыскать? Ведь без воды в пустыне конец один...

Стоило ли бежать от дяди, чтобы плутать несколько дней в пустыне и погибнуть мученической смертью от жажды?

Солнце замерло в зените, я ослеп и оглох от света, от жары, от песка, голод и жажда мучили меня, и наконец я почувствовал, что даже одежда, даже сапоги — непосильный для меня груз. Я повалился на песок — решил стянуть сапоги и идти дальше босиком, как шла Гавхар. Мне почему-то стало казаться, будто ей оттого легче шагать, что она идет босиком, — в этом все дело, это самое важное...

Я попробовал стащить сапог, но он, и без того тесный, не желал слезать с распухшей ноги. Гавхар старалась помочь мне, но ничего не получалось, и это почему-то злило меня, будто она во всем была виновата и нарочно не желала помочь, чтобы и дальше ей идти было легче, чем мне.

Наверное, сознание мое помутилось. Но в этом полубреду у меня вдруг хватило сил грубо оттолкнуть ее и вскочить в злобе на ноги.

— Бекджан, что ты? — она испуганно расширила глаза.

— Что, что — Бекджан?! Что ты еще можешь сказать мне? Опять — идем к реке? Опять — до нее совсем немного, да? Дойдем, как же! Не видишь, что ли, подохнем мы тут! Птицы глаза выключают!..

— Бекджан! — крикнула Гавхар, у меня зазвенело в ушах. — Замолчи! Ну что ты говоришь...

Она хотела подойти ко мне, но в сердце у меня не было ничего, кроме злобы, и злоба эта рвалась наружу:

— Сама замолчи! Ты, ты и твои оборванцы-большевики затащили меня сюда! Убить хотите? Чтобы змеи мою кровь повысосали?!

Кажется, я даже замахнулся на нее, и вдруг что-то обожгло мою щеку... затуманенное сознание послало вдогонку: тебя ударили по лицу, она ударила тебя...

Я схватил Гавхар за плечи и стал трясти, она что-то кричала мне в лицо, и в глазах ее я увидел вдруг жалость и страх, и очнулся, и протрезвел — господи, да что же я делаю! Ведь это Гавхар!

Она погладила меня по голове:

— Пойдем, Бекджан. Надо идти, нельзя останавливаться...

— Нет, нет! Надо вернуться, если мы хотим остаться в живых!..

— Вернуться?! Куда же?

— К колодцу...

— А оттуда? К твоему дяде, да, Бекджан?

— Он не даст нас в обиду, это лучше, чем сдохнуть в песках! Ты хочешь сойти здесь с ума? Хочешь достаться воронью на поживу?

— Бекджан... Ты... ты предлагаешь мне вернуться к басмачам?.. Ты предлагаешь вернуться к ним, да?

Это было больнее, чем удар по лицу.

— Я скажу ему, что ты... что мы...

— Какой же ты низкий, Бекджан, — спокойно проговорила Гавхар. В глазах ее было презрение. — Что ж, иди к своему дяде! Торопись!

Я резко встал и пошел.

Когда я сделал несколько шагов, услышал позади:

— Бекджан!

Я остановился, не в силах был ступить дальше. И не хотел обернуться, потому что знал: если обернусь, снова последую за ней, как верный пес.

Сколько я так простоял — память моя не говорит ничего. Потом, когда я обернулся и хотел позвать ее, — увидел ее еле приметную фигурку уже далеко. Она взбиралась на бархан, измученная, но несломленная. Я с тоской подумал, что она все же, наверное, дойдет, выйдет к реке. А я остался один среди песков...

Я побежал за ней, упал. Звал ее, я кричал ей что было сил. Она не обернулась. Мой голос был слаб, и не мне было одолеть безмолвие пустыни. Она меня не услышала.

Я с трудом поднялся, опустив голову, поплелся обратно — туда, где прошлой ночью убили Берды, где басмачи надругались над девушками... Чувства правоты не было в моей душе, я ненавидел себя...

Я шел обратно, и, чтобы примирить мою совесть со случившимся и меня с самим собой, сознание увело меня в прошлое, память услужливо рисовала милые сердцу картины: вот наш сад в кишлаке Чалыш, он был из самых красивых и богатых. Ветки деревьев гнутся под тяжестью плодов, посреди сада — виноградник, кисти огромные — с локоть, «буаки» и «чарас», за виноградником — бахча... А там, где наш сад примыкал к саду моего дяди Али, — десять деревьев моей любимой айвы. Мама тоже любила айву, варила из нее варенье... Эх, мама, мама... Что она видела, что получила хорошего от жизни? А отец мой? Он что получил? Копил деньги к старости, хотел хоть последние годы прожить в довольстве, хотел дать мне образование, оставить дом. Во всем отказывал себе ради этого. И что же — все отобрали, все, что накопил трудом, а заодно и жизнь... И мамину — тоже... А что взамен? Что получил я от Лойко, от большевиков? Убогую комнатку в доме старой Султанпаши? Что я видел?.. Разве я должен защищать эту власть?

Так утешала меня моя память, отыскивая и подбирая объяснения, почему я вправе был повернуть назад...

К вечеру я добрался до колодца, откуда мы с Гавхар двинулись утром. Бросился скорей к настилу, споткнулся, упал и с трудом поднялся на колени. И так и застыл: ужас сковал меня — прямо перед собой увидел я небольшую пеструю змею, она подняла голову над песком и не шевелилась, только стеклянно блестели глаза.

«Вот она, смерть... — промелькнуло у меня в голове. — От чего хотел уйти, к тому пришел... Видно, судьба... Это мне за Гавхар... Может быть, она умирает сейчас в песках...» Змея не шевелилась, но сама поза ее, напряженная, с поднятой головой, внушала мне такой страх, что я не смел дышать...

«Сейчас она бросится, — думал я, — примерится и... Куда она нацелилась?..»

Что делать? Может, мне самому броситься вперед, ударить ее ребром ладони по голове?.. Успею ли?.. Нет, конечно, змея быстрее...

Время шло, змея все не нападала, спину мою ломило от напряжения, — сколько я так еще простою, полусогнувшись, на коленях?

И вдруг — я сначала подумал, что это мне чудится, —

я услышал далекие голоса. Но я боялся отвести взгляд от змеи — она могла испугаться людей и броситься...

Холодный пот выступил у меня на лбу, — я услышал, что голоса приближаются... Я так и не повернул головы, а змея не двинулась... Голоса смолкли, и вдруг — мне показалось, над самым моим ухом, — грохнул выстрел...

Я повалился без сознания, уткнулся лицом в песок.

Потом я почувствовал, что в рот льется вода... Я открыл глаза. Это Джапак поил меня из фляги. Рядом стояли два красноармейца. Я поднялся. Змея валялась на песке, голова ее была раздроблена пулей...

— Что, змея напугала? — Джапак весело улыбался мне.

— Да старая она, яду уже нет... — заметил один из красноармейцев.

Меня напоили, дали лепешку, а Джапак, пока я жевал, коротко объяснил, как они нашли меня. Оказывается, тогда, во время перестрелки, он сообразил, что басмачи осият нас и захватят, и нырнул в воду, отплыл, и в суматохе его никто не заметил... Он видел, как басмачи схватили нас, как погнали в глубь пустыни... Берегом добрался до кишлака, что миновали мы незадолго до нападения, отсюда сразу же сообщили о басмачах в ближайший гарнизон... В погоню за бандой пошел кавалерийский эскадрон, утром их нашли. Часть банды была перебита, часть сдавалась... Девушек и ребят из нашей группы успели спасти от верной гибели...

Тут только и обнаружилось, что мы с Гавхар бежали. Несколько конников были посланы искать нас. И вот наконец нашли меня.

— А где Гавхар? — спросил Джапак.

Я не знал, что ответить. Джапак встревожился:

— Погибла?

— Нет... Она ушла...

— Ушла?! Куда? Как ты отпустил ее?!

— Она... пошла вперед... Я не мог... Я звал ее с собой...

Джапак молчал, и молчали оба красноармейца. Я не смел поднять голову.

— В какую сторону ушла? — изменившимся голосом спросил наконец Джапак.

Я показал рукой направление.

Они, все трое, поднялись в седла, и Джапак бросил мне с высоты вниз:

— Трус несчастный! Увидишь ты теперь Москву!

Я не смел шевельнуться. Они ускакали.

И только тут я испугался. Ведь они отыщут Гавхар, и та расскажет им, куда я звал ее с собой!

Я поспешно поднялся и тронулся в путь. Объясняя, как меня искали, Джапак показал, в какой стороне река, и теперь я шел уверенно. Я спешил.

К ночи я добрался до Амударьи. Я хорошо умел плавать — вырос-то на берегу реки! — и легко достиг другого берега. Вдали мерцали огоньки селения. Я не боялся темноты — теперь она защищала меня, была моей заступницей... Только бы меня не нашли! Теперь я боялся встречи и со своими, и с басмачами.

И вот — незнакомый кишлак. Я постучал в дверь крайнего дома. Отворила старуха. Я попросил воды и кусок лепешки. Она сжалилась надо мной:

— На тебе лица нет, сынок! Где ты так намучился? Зайди в дом, я накормлю тебя.

Но я уже боялся всего, — мне казалось, что за мной по пятам гонятся красноармейцы с Джапаком во главе, и я продолжал бежать — только преследователи сменились: вместо басмачей меня теперь ловили, как я думал, красноармейцы...

Я побоялся войти в дом сердобольной старухи: тогда она принесла мне воды и круглый хорезмский хлеб, совсем свежий... Я жадно выпил воду и впился зубами в хлеб... Старуха смотрела на меня с жалостью. Но в меня словно бес вселился, я уже не мог остановиться и, поблагодарив добрую хозяйку, зашагал дальше...

Справа от дороги что-то чернело. Мне показалось, что это скирда соломы. Так оно и было. Я сошел с дороги, огляделся и прислушался — тихо, никого, только от кишлака доносился лай собак... Я бросился на солому и сразу же провалился в сон...

К вечеру следующего дня я был уже в Ургенче и стоял у ворот нашего дома, где жил когда-то, в далекой счастливой жизни, вместе с родителями, и где умерли мой отец и мать...

Сейчас дом сделался чужим. Ворота были открыты, я вошел во двор и увидел, что на веранде мигает керосиновая лампа. Кто живет под нашей крышей?

Из комнаты моей мамы вышла какая-то старуха, заковыляла к огоньку на веранде, опустила на тахту... Я не выдержал.

— Тетушка!

— Кто там, не вижу в темноте, подойди сюда!

Я поднялся на веранду.

— Заходи, сынок, — приветливо пригласила меня старуха, встав навстречу.

Я решил притвориться, будто впервые вижу этот дом:

— Скажите, тетушка, здесь живет доктор Сафар?

— Эх, милый мой... Уж давно оставил он эту жизнь, мир праху его! Говорят, доброй души был человек. Да ты садись, не стой!

— Вы знали его?

— Нет, сынок... Рассказывал мне о нем один урус приезжий, сам из Хивы. Он-то и поселил меня с дочкой здесь, — говорит, сын Сафара в Москов уехал, учиться там будет долго, а вы живите пока, за домом смотрите... Вернется хозяин — переселим вас в новый дом... Так уж он хорошо говорит по-нашему, будто родился тут... А сам-то ты откуда будешь, сынок?

— Я из Чалыша, друзья мы с сыном доктора Сафара... Проведать хотел...

— Уехал он, сынок, уехал, пошли ему аллах удачи... — Старуха забормотала молитву, а я поднялся. — Куда же ты, милый, сейчас чай вскипит!..

— Спасибо, тетушка, меня ждут. Мир вам!

Я вышел на улицу. Куда ж мне идти теперь? Значит, Лойко был прав: дом мне, можно сказать, вернули — старуху поселили здесь до моего возвращения... Но что мне теперь до моего дома — не жить мне в нем! Бежать, бежать — меня будут искать здесь! Я звал Гавхар назад, к басмачам, и там, с басмачами, мой дядя... Такого мне не простят! Возбужденный, я подогревал свой страх, и он гнал меня все дальше и дальше...

Я пошел куда глаза глядят, и, как и в прошлый раз, какая-то сила привела меня на кладбище. Но и здесь не было мне покоя — одиночество и тишина царили кругом, и было тревожно, как в пустыне...

Я упал на могилу отца и дал волю слезам... Горькие это были слезы...

Я долго не мог успокоиться, и вдруг кто-то тронул меня за плечо. Я поднял голову — могильщик. Услыхал, наверное, и подошел — хотя его-то рыданиями не удивишь...

— Не мучай себя, брат! Смерть у каждого в изголовье, с ней не поспоришь! И отца не вернешь!

— Ты знал его?

— Твой дядя тоже приходил сюда.

— Давно?!

— Вчера. Поклонился могилам близких перед дальней дорогой.

— Он еще здесь?

— Остановился в доме Джумабека.

Я бросился отыскивать дядю и нашел его без труда: могильщик дал верный адрес.

Мы проговорили до полуночи, то есть я рассказывал дяде обо всем, что случилось со мной за последние дни, расспрашивал, а дядя на бумажке царапал ответы. Оказалось, что басмачей действительно захватили и часть перебили в бою... Рахманкул-бек, тот самый, чернобородый, что привозил от дяди письмо, погиб. Самого дяди в ту ночь не было с басмачами, и это его спасло. Через два дня с помощью верных людей он отправляется вдоль Амударьи и в песках Каракумов перейдет границу.

— Хочешь, пойдем вместе в Иран. Там встретишь людей, знавших твоего отца. Большевики не тронули твое имущество, я его припрятал. Сможешь хорошо жить, будешь торговать. Узбеки — торговый народ, я научу тебя, и дело пойдет — только соглашайся.

И я согласился... Зачем, от кого продолжал я свое бегство?.. И все же сделанного не воротить: через два дня мы покинули Ургенч и благополучно добрались до Ирана.

XI

— С той поры прошло сорок лет, — закончил свой рассказ старик. — Я не оправдываю себя, но я был наказан жизнью: человек, бросивший родину, носит наказание в самом себе... На чужбине нельзя быть счастливым.

Сорок лет... Целая жизнь. Кажется, нет в этих краях города, где бы я не побывал, нет дела, за которое бы не брался. Дядя мой был человек оборотистый и способный к торговле, и мы жили хорошо. Но после его смерти я быстро разорился.

Кое-как существовал на то, что удалось спасти из наших денег. И вот теперь — пять лет уже в этом городе, служу на телеграфе. Иногда хожу наверх — слушаю, как играет та бедная женщина. Она ведь из Хорезма, мелодии ее — мне родные. Последняя ниточка...

Я понимаю: там все теперь по-другому, и домик наш в Ургенче, и сад в Чалыше не сохранились, наверное, но я закрываю глаза и вижу их такими, как оставил... Это — моя молодость... Увидеть бы ее напоследок — и ничего

больше не просил бы я у жизни... Простите... я, наверное, утомил вас — рассказ мой, увы, не очень-то весел...

— А что стало с Гавхар? Вы так и не узнали?

— Представьте, знаю. Шесть лет назад, это в Каире еще было, я встретил туристов-узбеков, и среди них были мои земляки... Я расспрашивал их о родине, о Хиве, об Ургенче... И один из них знал когда-то Гавхар! Я, конечно, ничего не сказал им о себе...

Да... так ее тоже нашли — видимо, одновременно со мной... Нашли и спасли... Позже она поехала все-таки в Москву, училась там и стала врачом. Семья у нее была, отыскала-таки свое счастье...

Мы оба молчали, и старик грустно вертел в пальцах свою пустую чашку из-под кофе. Я посмотрел на него, жалкого и опустошенного, и мне захотелось выйти на улицу. Старик, видно, чувствовал это.

— Простите меня... Увидел земляка — и вдруг захотелось рассказать о себе. Чтобы хоть кто-нибудь на родине знал, что я есть, что существую...

Он поднялся, поклонился молча и вышел.

Родина!.. Мирная и ласковая моя земля... Как представить жизнь без тебя! Как не глядеть с сыновней любовью в глаза твои! И если найдется человек, предавший тебя, — разве не будет похожа его жизнь на жизнь того старика, одинокого и не нужного никому? Разве может быть счастливым человек без родины?